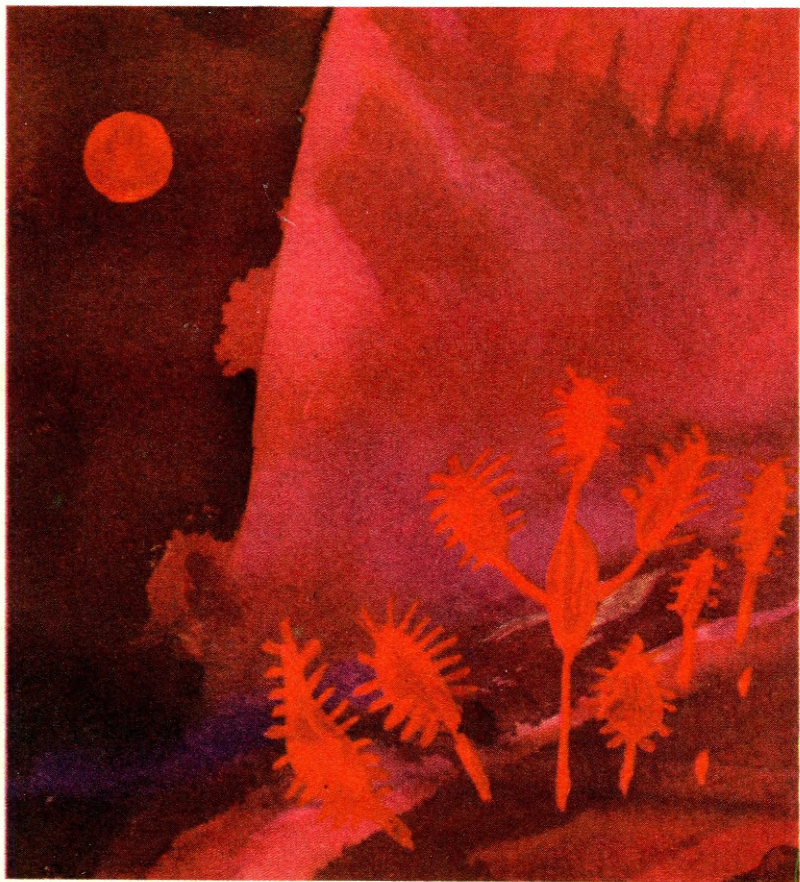
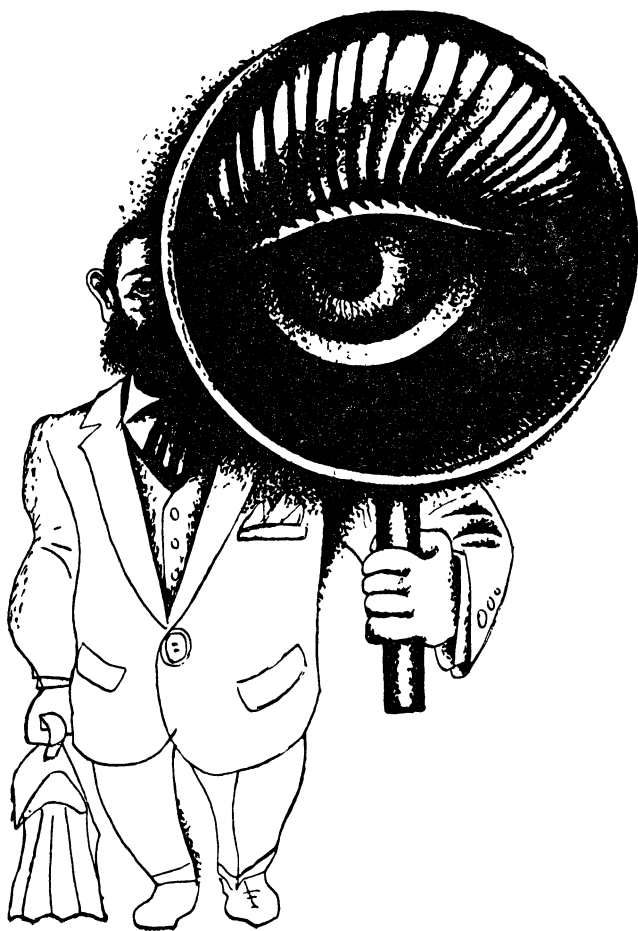


## **Д. БИЛЕНКИН • НОЧЬ КОНТРАБАНДОЙ**







P2  
B61

**Д. БИЛЕНКИН**



**НОЧЬ КОНТРАБАНДОЙ**

фантастические  
рассказы

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», МОСКВА, 1971



## ЧАРА

На Марсе для человека нет запахов. Может быть, ветер Марса горек и щемящ, травы пахнут нежным солнцем и после гроз там дышится необыкновенно. Этого мы не знаем и скорей всего никогда не узнаем. Для нас везде и всюду Марс пахнет резиной и металлом, процеженным воздухом заплечных баллонов.

Вот как сейчас.

Я иду дном узкой каменистой ложбины, в руке



у меня геологический молоток. Синеватые в отливе пластинки сланца хрустят под ногами. Звук как будто приглушен ватой. Первые дни пребывания в глухой разреженности Марса хотелось трясти головой, чтобы из ушей выскочила несуществующая вата. Теперь я свыкся, иду, не замечая странностей. Солнце палит нещадно, над откосами курится зной, но внимание мое поглощено другим.

Впереди меня идет Таня. Ее тень танцует на искрошенных глыбах, на поблескивающих слюдой осколках сланца, — так легки и непринужденны движения де-

вушки. Она тоненькая, стройная; баллоны на спине сидят ловко и словно ничего не весят. Глядя на нее, я слепну от нежности. Я уже ничего не вижу, кроме потемневшей на лопатках кофточки, упругих в ходьбе ног, прыгающей на бедре сумки, рук, несильно сжатых в кулачки.

У поворота она останавливается, машет мне. Я подхожу.

— Дайка.

Ее палец указывает на ровную жилу серого камня, косо секущую напластования сланцев.

— Сиенитовая дайка, — соглашаюсь я.

Она кивает. Ее плечо рядом с моим.

Словно поглощенный делом, я смотрю на дайку, но украдкой я весь в боковом зрении и вижу я не изломы камня, а бисеринки пота над ее бровью, оспенную метку на смуглом плече, успокаивающееся дыхание груди. Даже тупое рыльце маски не портит Таню. Мне немножко совестно рассматривать ее вот так, что-то есть в этом воровское. И стыдно, что я забываю о своем долге исследователя.

Кое-как я заставляю себя сосредоточиться. Я отбиваю образцы, замеряю угол падения жилы, определяю минеральный состав, диктую записи в наручный магнитофон. Таня помогает мне, все это делается быстро, профессионально, но мгновения, когда я передаю Тане образцы и наши пальцы соприкасаются, почти невыносимы. Нельзя сжать ее пальцы, но и убежать от них тоже нельзя, и надо, чтобы голос не дрогнул и чтобы мои пальцы, касаясь, ничего не сказали ее пальцам, а хочется, чтобы они сказали ей все. И мне кажется, что это противоестественно, — здесь, в настороженном молчании Марса, думать о девушке, о своей любви к ней.

А ей? В поведении Тани нет и намек на догадку о

моих чувствах. Оно непосредственно, бесхитростно, и я не могу понять, действительно ли она ничего не замечает или замечает все, но скрывает из ей одной ведомых побуждений. Это тоже как стена. Раз она так хочет, значит ей так лучше, и неосторожное движение может огорчить ее. А огорчить я боюсь не меньше, чем узнать о ее равнодушии ко мне.

Описание дайки закончено. Не было произнесено ни одного слова, не сделано ни одного жеста, которые могли бы нарушить дружески-деловой тон наших отношений. Все осталось как было, и мы отправляемся дальше. Когда-то еще мы снова окажемся вдвоем на сотни километров окрест?

Теперь я иду впереди. Так легче, но ненамного. Теперь она смотрит мне в затылок, и я все время хочу обернуться.

Склоны становятся положе, понемногу наши головы начинают возвышаться над бровкой, и нас со всех сторон обступает каменистая равнина. Она черна от лавовых полей, стелющихся к горизонту, и редкие жилы кварца на ней как брызги исполинской малярной кисти. Плиты лав дышат сухим жаром. Сланцы кончились, под ногами песок. Он вьется извилистой лентой в неглубоком русле. Ручей пересохшего ручья, сказал бы я на Земле, но здесь ручьи сказочная редкость. Вообще, следовало бы поразмыслить, откуда взялась ложбина, которой мы шли. Попросту я обязан это сделать. Я и пытаюсь.

Неожиданное видение, близящееся с каждым шагом, изумляет меня. Это невероятно, но это так: впереди озеро.

— Вода... — говорю я растерянно.

Таня подходит ко мне, и у нее, когда она идет, лицо ребенка, ослеславленного подарком. Мы долго и потрясенно молчим.



Крохотное озерко с мелкой, прозрачной, чуть зеленоватой водой окаймлено полоской белого искрящегося ила. Редкими иглами его прокалывает острая карминно-красная трава. И над всем этим — невозмутимое фиолетовое небо. И тишина вокруг, как во сне, и мы слышим дыхание друг друга.

Осторожно, боясь вспугнуть тишину, мы подходим ближе, на плотном иле отпечатываются наши шаги, мы сами не замечаем, как беремся за руки.

На желтом дне лежит прозрачная тень узорчатых водорослей.

Таня, потупясь, опускает взгляд.

— Можно... Можно, Таня испугается?

Носком ботинка она ковыряет ил, в ее голосе смирение, но я знаю, что не смогу ей запретить, хотя запретить обязан.

Все же я делаю усилие.

— Но ты же знаешь, что нельзя...

Она вскидывает голову, так что разлетаются волосы, ее подбородок упрямо задран, и теперь она вся — вызов.

Но голос ласковый-ласковый.

— Ну миленький, ну разреши, я буду осторожной...

Она смотрит на меня так, что все инструкции летят к черту. Мне и самому хочется их туда отправить. Это озеро — наше. Оно и награда и праздник, и мы не роботы в конце концов. Да и Марс почти обжит, на нем уже нет признаков неведения.

— Хорошо, — бурчу я, отводя взгляд. — Только со всеми предосторожностями...

Она уже не слышит. Я придерживаю баллоны, пока она раздевается, достаю из рюкзака капроновую веревку, прилаживаю петлю, Таня смеется и показывает мне язык. Она знает, конечно, знает, что может делать со мной что угодно!

Она осторожно идет к воде. Ее босые пятки оттискивают крохотные ямки, загорелые ноги кажутся в сверкании белоснежного ила почти черными. Кончиками пальцев она трогает воду и входит в нее, пробуя дно.

Дно держиг прочно, это и я вижу. Миг — и меня ослепляют фонтан брызг, смеющееся лицо девушки. Я глупо улыбаюсь: кто бы мог подумать, что таким безумием закончится наш сегодняшний маршрут! Нельзя было посылать на Марс девушек. Но ведь когда-то они все равно должны были появиться! Появиться и принести сюда это волнующее, дерзкое веселье, этот смех, опрокидывающий все суровое, регламентированное, чуждое Земле и людям. Я люблю ее за это, я без нее не могу больше, ни здесь, на Марсе, ни там, на Земле, — не могу без ее непосредственности, без ее улыбки, преображающей все.

Она плавает, хоть колени и скребут по дну, она вся — наслаждение, я же нелепой статуей стою на берегу, держу веревку и чувствую, как тяготит меня пропыленная, пропотевшая одежда, как хочется мне ее скинуть.

Наконец Таня вылезает. Капли, сверкая, бегут по ее телу и темными пятнами осыпают ил. Она пытается развязать веревку, я спешу помочь и наклоняюсь над затянувшимся узлом.

— Запутал ты меня...

Что это? Голос ее слегка дрожит. Я вскидываю голову, вижу ее глаза, ничего, кроме глаз, и Марс вдруг начинает кружиться подо мной.

И сразу — как удар: взгляд Тани суживается, прыгает в сторону, на лице страх. Я стремительно оборачиваюсь и тоже застываю.

Близко-близко от нас я вижу прижавшееся к траве

тело зверя, злобный просверк его глаз, напряжившиеся лапы с кривыми грязными когтями.

Я понимаю, что он сейчас кинется на нас, знаю, что этот хищник — чара — уже нападал на человека, знаю, что его прыжок молниеносен, знаю это и не могу пошевелиться.

— Чара! — крик глухо отдается в моих ушах. — Чара!

Я не узнаю голоса Тани. В каком-то столбняке я вижу ее протянутую к зверю руку, ее подавшееся вперед тело, она что-то говорит требовательно и мягко, не разберу что, но в тоне ее слов незнакомая мне сила и власть, льющаяся на этот напряженный комок мускулов, на эту взведенную злобой мину. Прыжка все нет.

Оцепенение отпускает. Краем глаза следя за чарой, я тянусь к пистолету, освобождаю его из кобуры, кладу палец на спасительный курок... И тут на мою руку из-за спины решительно ложится Танина ладонь.

Она запрещает мне стрелять. С отчетливостью почти зрительной я успеваю осознать, что выстрел — последняя крайность, что промах почти обеспечен, что даже раненый зверь смертельно опасен. В то же бесконечно растянутое мгновение инстинкт, требующий от меня немедленного действия, успевает бурно возмутиться. Еще я успеваю заметить, что Танина рука, протянутая к чаре, не дрожит, но почему-то белеет от кисти к предплечью. И я вижу, как чара, будто завороченная, тушит блеск глаз, как по ее мускулам проходит волна, как растерянно дергается кончик ее хвоста, как опускается книзу ее плоская треугольная морда...

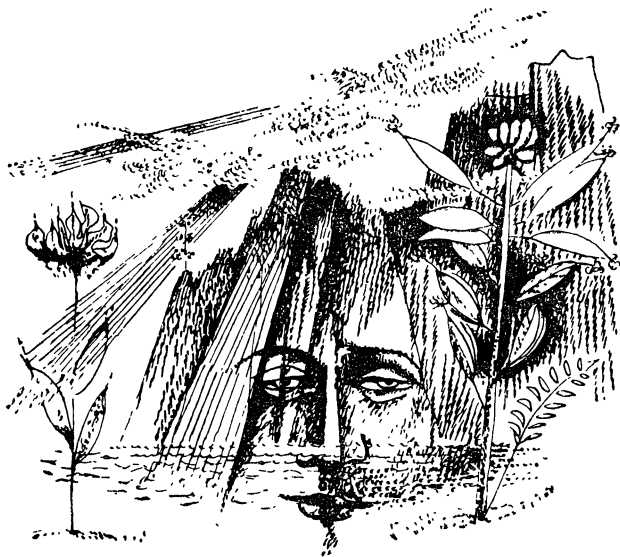
Чара с фырканием вскакивает, трусит вдоль берега, садится и, недоуменно поглядывая на нас, принимается лакать воду. Ее язычок ходит быстро, как у кошки. По-

том чара поворачивается и степенно убегает. Танина рука бессильно падает.

Секунды перестают быть вечностью. В Танином лице ни кровинки, мне приходится обхватить ее, чтобы она не упала. Но она тотчас выпрямляется. Ее подбородок дергается, глаза сияют, она выпаливает с гордостью:

— А все-таки послушалась! А все-таки это кошка, кошка, марсианская кошка!

«Да, — мелькает и проносится мысль — теперь понятно, кто приручил когда-то земных зверей...»



## ВО ВСЕХ ВСЕЛЕННЫХ

Справа склон был ослепляюще-белым, слева непроницаемо черным. Они ехали дном ущелья по самой границе света и мрака, жары и холода, но разницы между крайностями не ощущали. Свет был безжалостно неподвижен, и темнота тоже; жесткая нагота камня была там и здесь; одинаково мрачное небо катилось над вездеходом, повторяя изгибы ущелья. Даже камни стучали под гусеницами не так, как на Земле, — резче, грубей. Про-



водником звука был металл, только металл; и отсутствие воздуха лишало его привычных обертонов.

И сами люди находились в футлярах-скафандрах, да и скафандры тоже были вложены в футляр — коробку вездехода. Уже пять часов в скафандре, где воздух вроде бы воздух, но какой-то процеженный, химический, безвкусно-неприятный. А снаружи — мрак и пламень, оцепеневший костер безжизненной материи. Ни одной земной краски!

Голова в шлеме уже казалась чужой. Тело устало от неподвижности одних мышц и от тупой борьбы с тряской

других. Все: и мысли, и чувства, и плоть — жаждало отдыха. И прежде всего отдыха от Луны. Энергией их могла наполнить одна-единственная зеленая былинка. Но увидеть ее можно было лишь во сне.

— Ну, теперь близко, — сказал Преображенный, облизывая губы.

Он сидел за рулем, непоколебимый как скала, и даже скафандр на его плечах был не округлым, а угловатым. «Близко...» — повторил про себя Крамер.

Близко было и час назад. Просто им хотелось, чтобы было близко. Ради этого они и поехали напрямую, благо геологи вольны выбирать себе маршрут.

При слове «близко» Романов оживился и восторженным тенорком заговорил о петрографическом составе мелькавших по сторонам пород. Он заговорил об этом не потому, что его взволновало какое-то новое соображение, и не затем, чтобы помочь другим скоротать время. Как всякий новичок, он боялся не проявить должного, по его мнению, энтузиазма, боялся, что его заподозрят в равнодушии к лунной геологии. Они все были энтузиасты, только об этом не было принято говорить вслух, как не принято говорить вслух о любви, а принято было ругать Луну, благо в такие минуты, как сейчас, они искренне ненавидели ее. Но Романову это было еще невдомек. — Помолчи! — вырвалось у Преображенного.

Романов осекся.

— Да, — сказал Крамер, пытаясь сгладить неловкость. — Не так это просто — Луна.

Он замолчал. Нигде они так не ощущали бессилие слов, как здесь. Самые простые слова приобретали тут иное, чем на Земле, эмоциональное содержание. Лунная темнота была не той темнотой, что когда-то дала человечеству это понятие. И свет. И многое другое тоже. Вот почему они не любили рассказывать о Луне. Их опи-

сания Луны оставались ложью, как бы тщательно они ни подбирали слова. Правильно их воспринять мог лишь тот, кто сам побывал на Луне. А ему не надо было рассказывать.

Крамер ограничился тем, что похлопал Романова по плечу. Тот растерянно-благодарно улыбнулся за стеклом шлема.

Любили ли они Луну? Да, на Земле они не могли без нее жить. Ненавидели? Да, когда оставались с ней один на один.

Ущелье, петляя, шло под уклон, и ЭТО они увидели вдруг, обогнув очередной выступ.

Они воскликнули разом.

Вездеход дернулся и застыл на тормозах.

Все здесь было как в других котловинах: огненные клинья света на склоне, кромсающие их провалы теней, колючие осыпи камня и то беззвучие лунного мира, которое нестерпимо хочется нарушить криком.

Что здесь было не так — это скала. Ее шапкой-невидимкой накрывала тень, и все равно в ней светился вход. Он был озарен изнутри: так глухой ночью озаряется окно дома.

Молча все трое вылезли из вездехода. С каждым шагом неправдоподобное становилось неправдоподобней. Наконец они очутились перед входом, и всем захотелось протереть глаза.

Не было никакого порога. Угловатые лунные камни сразу, без всякого перехода сменялись окатанными глыбами. И за этим переходом начинался другой мир.

В нем было небо, затканное перистыми облаками, было озеро в кольце скал и был лес. Солнце угадывалось за облаками, янтарное солнце в желтом небе. Его рассеянные лучи несли покой и мир. Палевый отсвет лежал



на воде, настоящей воде, ласково зовущей искупаться в тепле и тишине.

Меж озером и деревьями, чьи длинные оранжевые листья росли прямо из стволов, пролегалa полоска песка, тонкого и шелковистого, — такой песок хочется бесконечно пересыпать из ладони в ладонь.

Позади леса нависали скалы, задумчивые, как древние философы.

Но было в этом озере, в этом небе, в этих скалах нечто большее, чем мудрое спокойствие. Была в них та красота, которая успокаивает и возвышает. Одно прикосновение к ней смывало накипь, все нечистое, всю усталость.

Они чувствовали себя словно в струящемся прозрачном потоке — все трое. Они были там, на янтарном берегу, там они вели неторопливый разговор со скалами, там им кивали листья деревьев, там они пересыпали меж пальцами тонкий песок, там они были счастливы.

Они стояли, забыв о времени.

У Крамера — настолько было велико очарование — даже не возникало желания войти.

— Там инопланетники! — разбудил его хриплый голос Преображенского. — Они, их база!

Очарование спало. Крамер увидел, как Преображенский порывисто шагнул вперед, чтобы ступить на берег озера, и как пустота вдруг отразила этот шаг.

Преображенский закачался, едва не потеряв равновесия.

Сзади быстро подошел Романов и деловито пошарил перед собой. Ничто, казалось, не ограждало вход, и тем не менее протянутые руки уперлись в невидимую стену.

Желанный мир пришельцев был недостижим.

Так и должно было быть по законам логики, они это поняли и подавили разочарование.

— Спокойно, — сказал Преображенский. — Приступим к делу.

Они стояли плечом к плечу у входа, и каждый слышал шумное дыхание другого. Открытие навалилось на их плечи, как тяжелый груз. Все, они уже не могли смотреть на озеро прежним радостно-безмятежным взглядом — это было печально и неизбежно. Сколь бы прекрасное ни было прекрасным, оно подлежало теперь исследованию и холодному анализу.

Они вычислили площадь входа, замерыли радиоактивность скалы и преграды, определили силу отраженного озером света, привычно проделав все, что проделать было необходимо. Но что-то протестовало в них против этих действий: тем злее и сосредоточенней они работали.

Тем временем ничто не менялось за преградой. Все так же призывно мерцала вода, все так же мягко струился свет, все так же нежился берег.

Они провели киносъемку.

— Надо оценить прочность преграды, — сказал Преображенский.

Романов поспешно сбегал в вездеход, притащил буровое сверло, упер рукоять себе в грудь и включил мотор.

Сверкающее жало уткнулось в пустоту, вращаясь и подрагивая.

Словно паутинка повисла на кончике сверла.

Остолбенев, Крамер смотрел, как от вибрирующего острия бегут, пересекаясь, невесомые нити.

— Стой!!! — не своим голосом закричал Преображенский.

Но Романов уже и сам отшвырнул сверло, точно оно обожгло ему руки.

Поздно.

Трескалась не преграда. Множась, разломы охваты-

вали озеро, скалы, лес, небо. Мир распадался, как алмаз под ударом молота. Он крошился, тускнел, гас...

И погас совсем. Прощально вспыхнув, исчезло последнее облачко.

Людам в глаза смотрела тьма.

Когда они, ошеломленные, ничего не понимающие, дрожащей рукой включили фонарики, то увидели голую плоскость камня там, где только что было озеро.

Они растерянно и тщетно, в отчаянной надежде шарили по ее поверхности. Камень всюду был гладкий, точно отполированный. Под пальцами засохшими лепестками осыпалась черная эмаль, кое-где еще покрывавшая скалу.

Они брали эту эмаль с тем чувством, с каким на пожарище берут горсть пепла.

Она была необходима для анализов.

И когда было сделано все, что надо, исполнен весь ритуал погребальных исследований, Преображенский отошел в сторонку, сел на плоскую глыбу и закрыл лицо руками.

— Я полагаю, что у пришельцев это было чем-то вроде телевизора... — неуверенно проговорил Романов. — Кто же знал...

Плечи Преображенского вздрогнули.

Крамер поднял лицо к небу. Там в угольной черноте сияла вечная арка Млечного Пути.

— Нет, — сказал он глухо, с какой-то непоколебимой уверенностью. — Нет. Это была не база. И не телевизор. Тот мир был слишком прекрасен, техника не могла создать его таким... — Он запнулся. — Таким человеческим.

Крамер помолчал, глядя в небо и не видя его. Никто не перебил его.

— Мы убедили себя, что величие любой цивилизации воплощается прежде всего в технике, — проговорил он

быстро. — Почему? Пришельцы тоже не роботы. Здесь, на привале, вдали от дома, им были ведомы те же чувства, и они мимоходом создали то, чего им не хватало: образ родной природы. Друзья, это была картина.

Преображенный встал, задумчиво посмотрел на глыбу, словно она еще хранила тепло тех загадочных существ, что побывали здесь до них.

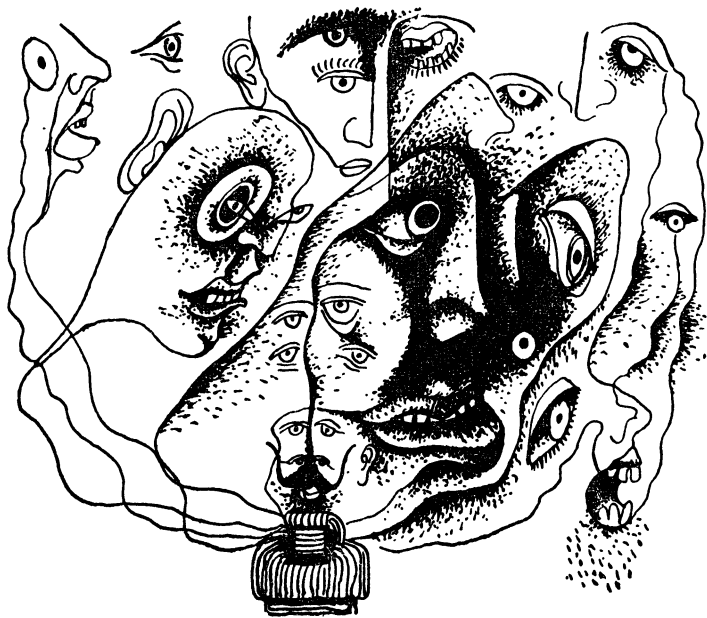
— Собирайтесь! — сказал он, резко повернувшись.

Потом он тронул Крамера за плечо.

— Твоя гипотеза, конечно, правомочна. Но она уязвима с позиций логики.

Крамер кивнул.

— Да, разумеется. И все-таки в миллионах лет отсюда, на других планетах и в других галактиках, в царстве любой свертехники художник останется художником, под влиянием минуты рисуящим где попало, чем попало и на чем попало. Иначе он не может, вот вся логика.

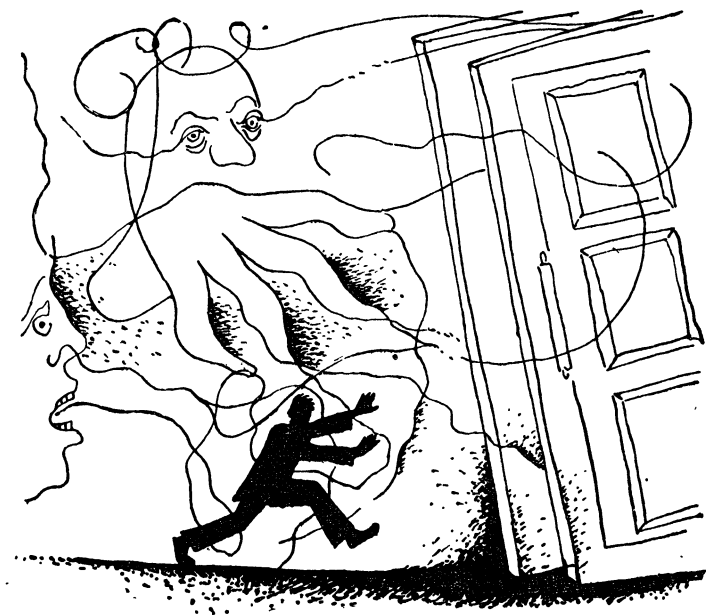


## НОЧЬ КОНТРАБАНДОЙ

— О-о! Взгляни-ка: кроме нашего, в Тевтобурге, оказывается, заседает еще один конгресс!

— Вчера здесь ничего не висело, — отозвался Мизгин.

«Международный симпозиум демонологов». Я прочел объявление с тем чувством веселого недоумения, которое только и может испытывать человек моей профессии при встрече с абсурдом. Сама афиша выглядела



прозаично. Никаких черепов, змей и сатанинских рыл с нее не смотрело. Время заседаний, повестка дня, фамилии докладчиков — все было точь-в-точь как в программе любого научного совещания. Последняя строчка оповещала о порядке регистрации делегатов. Секретариат симпозиума, судя по объявлению, располагался в доме, перед которым мы остановились.

Мимо нас прошествовала и скрылась в подъезде дама с болонкой на поводке. Мысль о ее возможной причастности к ведьмам показалась мне забавной.

Я взглянул на часы. До начала заведомо скучного

обсуждения на секции слабых взаимодействий оставалось минут сорок.

— Зайдем?

— Можно и зайти, — согласился Мизгин.

По добропорядочной, чистой до уныния лестнице мы поднялись на третий этаж и без помех очутились в светлом, обставленном канцелярской мебелью помещении, где бойко стучала на «Рейнметалле» хорошенькая девушка лет двадцати. Мини-юбка приятно оголяла ее ножки.

Я осведомился, к демонологам ли мы попали.

— К ним, — любезно улыбнулась девушка, отрываясь от «Рейнметалла» и крашеными ноготками поправляя прическу.

— Скажите, — проговорил я загробным голосом, — можно ли записаться на прием к сатане?

Девушка не поняла шутки.

— Вы по какому делу?

— Видите ли, — продолжал я, заранее наслаждаясь предстоящим спектаклем, — разрешите представиться: Виктор Новгородский, физик...

— А, — перебила девушка. — Физики часто заглядывают к нам.

— ... А это, — я кивнул в сторону своего приятеля, — Юрий Мизгин, тоже физик. Можно побеседовать с кем-нибудь из магов, или как еще там ваше начальство называется?

— О, пожалуйста! Я доложу секретарю общества герру Шенку.

И она упорхнула.

— А стоит ли? — после минутного молчания спросил Мизгин.

Ответить я не успел, так как появилась девушка и с полупоклоном пригласила нас войти.

На пороге кабинета я шумно втянул воздух. Серой, как я и ожидал, не пахло.

— Отступаете от традиций? — спросил я не без вызова, едва мы поздоровались.

Демонолог укоризненно покачал головой. Широкоплечий, массивный, он сидел за столом, и свет, люющийся сзади из окна, алюминиевым сиянием зажигал его седые волосы, оставляя в тени черты его крупного лица. На нем был клетчатый твидовый костюм, под узлом темного галстука прозрачно мерцал какой-то камень. Слева дремало штук пять телефонов. совсем как в кабинете директора крупного института.

— Коллега, — сказал он наконец, — не стоит шутить над высшими силами.

— Неужели? — спросил я, опускаясь в предложенное кресло. — Разве высшие силы можно оскорбить?

— В не меньшей степени, чем науку.

Вероятно, на моем лице отразилось удивление, потому что демонолог вдруг рассмеялся. Станный и неприятный был этот смех. Он напоминал шипение дряхлых часов перед боем. Глаза демонолога при этом совсем исчезли под морщинами, щеки вспухли, как две белые булочки, по горлу прокатился и спрятался кадык.

Смех оборвался так же внезапно, как начался, и лицо герра Шенка приняло обычное выражение.

— Прекрасно, — сказал он, пристально глядя на меня. — Замечательно. Многие смеялись до того, как встретились с потусторонними силами, но никто еще не смеялся после. И не советую, молодой человек, не советую.

— Что не советуете?

— Встречаться. Распространенная ошибка заключается в том, что нас считают союзниками дьявола. Наоборот. Вся наша деятельность сводится к ограждению



жителей Земли от случайных столкновений с потусторонними силами.

Демонолог шевельнулся, и камешек в его галстук сверкнул кошачьим глазом.

— Знаете что, — я ощутил злость. — Словесная эквилибристика доказывает лишь шаткость позиций.

— Почему вы считаете наши позиции шаткими?

— Потому что я прекрасно знаю, что никаких потусторонних сил не существует.

— Ах знаете! — с неподражаемым сарказмом произнес демонолог. — Не существует, значит? А нейтрино существует?

— Разумеется!

— Откуда вам это известно?

Я пожал плечами.

— Так, — сказал демонолог. Даже не сказал, а промурлыкал, снисходительно улыбаясь. — Да, вы знаете, что нейтрино существует. Но миллиарды людей этого не знают. Сами они не ставят и не могут поставить опыты по его наблюдению, они верят в реальность нейтрино только потому, что об этом твердите вы. То есть нейтрино они принимают на веру. Так же обстоит дело и с потусторонними силами. Здесь посвященных в тайну тоже немного.

— Если мы ставим опыт, — сказал я, — то его может повторить каждый! И он увидит то же, что и мы.

— Но для этого ему в лучшем случае придется потратить несколько лет на обучение. Наши опыты не требуют от людей таких жертв, равно как и аппаратуры, стоящей миллионы долларов. Но они опасны, смертельно опасны. Поэтому мы держим их секрет при себе, как бы нас за это ни упрекали ученые.

— Еще бы вы их раскрыли!

— Мой друг не то хотел сказать, — внезапно вста-

вил дотоле молчавший Мизгин. — Об опыте не может быть и речи, когда нет объекта опыта. А вам, надо полагать, еще удастся находить объекты.

Не знаю, кто с большим недоумением посмотрел на Мизгина — я или демонолог. Разговора, которого я ожидал, явно не получалось. Софистикой, надо признать, герр Шенк владел великолепно, и пора было рвать паутину слов,

— Вот что, — сказал я, вставая. — Вы пытаетесь вызвать нас на спор. Прекрасно! Но нельзя спорить о том, чего нет, и тут вы не сможете возразить. Ни одному образованному, здравомыслящему человеку вы не рискнете показать действие ваших так называемых потусторонних сил. Никогда. Ни при каких условиях. И это факт. Не так ли?

К моему удивлению, демонолог не был обескуражен.

— Так, — в его голосе послышалось сожаление. — Это, конечно, против всех наших правил... Но ваше самомнение чрезмерно. Скажите, если я дам вам возможность... Впрочем, нет, мне жаль вас.

— Ну разумеется, — я вложил в голос максимум иронии. — Но я согласен быть жертвой. Давайте сюда ваши силы, черта давайте, только чтоб был яркий свет! Произносите заклинания, я жду.

Я с торжеством посмотрел на демолога.

Он покачал головой, отчего камень в галстукe намешливо мигнул.

— Мы не требуем от вас, чтобы нейтринo без промедления возникло вот на этом столе, — сказал он. — Вам же подавай демона сию минуту... Впрочем, пусть так. Он появится сегодня и при ярком свете.

— Где? Когда?

— Здесь, в Тевтобургском замке.

— Замок, ага... — я понимающе кивнул.

— Да, замок, — сухо ответил демонолог. — Как и нейтринно, демонические силы регистрируются не везде и в разной степени насыщения.

— Надеюсь, в замке сидят высококонцентрированные демоны?

— Проверите сами, если только знакомство с историей замка не отобьет у вас охоту нанести туда визит.

— Не отобьет, — пообещал я.

— Хорошо, — демонолог вздохнул с таким сожалением, что даже ореол его волос потускнел. — Жду вас в десять вечера у подъезда замка.

— Нет, каково! — воскликнул я, когда мы вышли на улицу. — Выходит, я напросился на свидание с нечистой силой! Юра, ты не находишь, что это уже само по себе мистика?

— Пожалуй, — согласился он как-то нехотя.

— Ты не одобряешь мой поступок?

— С одной стороны, ты поступил опрометчиво, а с другой стороны, гяга к эксперименту, даже такому, заслуживает уважения.

У Мизгина всегда так: с одной стороны, с другой стороны... Он охотно уступал желаниям других, не спорил по пустякам, держался скромно и незаметно и вообще обладал чудесным характером. Но он был мямлей. Настоящая мысль всегда мускулиста, а у него все, что он говорил, всегда было каким-то полууклончивым. Иногда меня это просто злило.

— Итак, приключение обеспечено! — сказал я, рассеянно кивая проходившему мимо академику Т. (Мы уже стояли у входа в зал конгресса.) — Нет, но какова наглость этих шарлатанов! Ну, уж я выведу их на чистую воду! Юра, ты, конечно, тоже пойдешь?

— Пойти? Да, да... Отчего бы и нет? Правда, я не уверен...

— Ты никогда ни в чем не уверен, знаю. Может быть, ты не уверен и в отсутствии потусторонних сил?

— Да как тебе сказать... В них я, конечно, не верю. Точней, я знаю, что их нет. Но страх перед демонами — это реальность, которой не следует пренебрегать.

— Уж не боишься ли ты?

— С одной стороны...

— Нет, нет, без всяких сторон, пожалуйста. Идешь ты или нет?

— Я только хотел объяснить, что для такого эксперимента надо хорошо себя знать, а мы...

— Я-то, положим, хорошо себя знаю.

— Сам себя человек не всегда знает достаточно, даже когда он уверен в противоположном.

— Тьфу! Да или нет?

— Да, потому что вдвоем безопасней. Мало ли что...

Я задумался. Еще в детстве, тренируя волю, я ходил ночью на кладбище. Здесь, конечно, придется быть на чеку, кто спорит? И неприятные минуты возможны. Но опасность? То, чего нет, не может быть опасным. Мизгин зря так кисло настроен. Какая-нибудь ловушка? Чепуха, сюжет для грошового детектива. Я обязан, просто-напросто обязан дать бой, потому что если невежеству, шарлатанству, глупости не дают бой, то побежденным оказывается разум. Бой на чужой территории? Что ж, тем внушительней победа. Мизгину не хватает твердости, это, конечно, минус. Может быть, лучше одному? Поздно, обидится. Ничего, подстрахую в случае чего.

Звонок настойчиво потребовал меня на заседание секции, и мы расстались. Встречу я назначил на девять часов у кафедрального собора.

Признаться, я слушал вполуха. Подумать только, какой эффект вызвало бы среди моих коллег из-

вѣстие, что я собрался на встречу с дьяволом. Какой был бы переполох! Как выпучил бы глаза профессор М.! При этой мысли мне становилось весело, но я сдержался и никому ничего не сказал. Сначала сделано, а потом сказано — я так считаю.

Часы на ратуше били девять, когда я, плотно поужинав, подходил к собору. Мизгин уже был на месте.

— Я узнал историю Тевтобургского замка, — сказал он, приближаясь. — Она, разумеется, зловеща. Не тем, что там появлялись привидения, а тем, что после полуночного бдения многие выходили оттуда сумасшедшими. Или совсем не выходили.

Я усмехнулся.

— Они исчезали?

— Нет, их выносили ногами вперед. Инфаркт, как правило.

— Выдумки, конечно?

— Ничуть. Я поднял архивы и перелистал подшивки местных газет. У меня есть, правда, одно соображение...

Я вспылil.

— Какие еще соображения! Какая глупость, какая чудовищная глупость все эти байки! Почти в любом старом доме жили люди, которые шарахались от собственной тени, сходили с ума, умирали от сердечного приступа. Немного лжи, немного страха, немного воображения плюс эти факты — вот и готова легенда!

— Диагноз верен, пожалуй, на девять десятых.

— Боюсь, что нам привидения не покажутся и мы проведем скучную ночь.

— Для тебя я тоже захватил книгу, — сказал Мизгин.

— Спасибо.

Мы долго поднимались по тихой, мощенной брусчаткой улице. Городок уходил вниз, вниз, и по мере

сгущения сумерек его черепичные крыши, узкие лабиринты, зеленые от времени шпильи, крошечные скверики серели все более и более, словно подергиваясь пеплом, тогда как окружающие горы росли и надвигались, мрачно нависая над котловиной.

Дома стали появляться реже, их разделяли сады, наполненные тишиной и темнотой. Из-за гребня гор всплыла луна, брусчатка замерцала, тени густо почернели.

Наконец справа забелел широкий фасад дома с колоннами, на нас глянули его неосвещенные окна. Внизу, однако, теплился огонек.

— Здесь, — сказал Мизгин.

Я заметил, что иначе представлял себе замок.

— Так это же не десятый век, а восемнадцатый, — пояснил Мизгин.

Ворота решетчатой ограды были распахнуты. Пока мы шли по мощеной дорожке парка, парадная дверь медленно приотворилась, и хлынувший лунный свет осветил высокую фигуру демонолога.

— Вы пришли, — глухо сказал он. — Что ж...

Он жестом приказал нам следовать за собой.

Я уже хотел было отпустить ехидное замечание насчет экономии электроэнергии, но демонолог, пропуская нас, щелкнул выключателем, и в передней вспыхнули три пыльные лампочки, криво сидящие в кольце люстры. Унылое молчание охватило нас. Наверх вела широкая мраморная лестница, зеркала слева и справа мутно отражали каменный паркет и позеленевшую улыбку бронзовых грифонов у входа. Нас в зеркалах не было, хотя мы и стояли напротив.

Демонолог толкнул неприметную дверцу сбоку, и мы вошли в какое-то помещение. Быстрым и бесшумным пламенем горел камин, бросая на ковер и темную ме-

бель причудливые отсветы. Пространство посредине занимал продолговатый массивный стол цвета запекшейся крови.

— Предупреждаю, — проговорил демонолог. — В комнатах, где вы разместитесь, есть кнопка. Как только станет опасно, нажмите ее. Я немедленно приду на помощь и постараюсь усмирить потусторонние силы заклинаниями. Иногда я успеваю сделать это.

В помещении, несмотря на камин, было зябко, отчего по телу пробегала невольная дрожь.

— Не будем зря терять время, — сказал я, глядя на часы.

Они стояли.

Демонолог почему-то медлил. Он был в том же костюме, что и днем, но его лицо имело здесь неприятный серо-синий оттенок.

— Вы написали записки? — тихо спросил он.

— Какие еще записки? — воскликнул я.

— Что вы по доброй воле пришли на свидание с демоном.

— Я написал, — тихо сказал Мизгин.

Он вынул из кармана сложенный вчетверо листок бумаги и протянул его мне.

— Подпиши.

Хмыкнув, я проглядел записку. Она была составлена так искусно, что в случае злого умысла никто бы не смог представить ее в качестве оправдательного документа. Мысль о том, что кто-то мог нас заманить сюда, не приходила мне в голову ввиду ее явной нелепости. Но теперь мне стало как-то не по себе. Я вопросительно посмотрел на Мизгина. Тот кивнул. Я поставил свою подпись рядом с его и передал листок демонологу.

Документ, кажется, удовлетворил его.

— Идемте, — сказал он.

Мы снова прошли в переднюю, пересекли пространство перед зеркалами, которые наконец отразили нас, поднялись на площадку второго этажа и свернули по коридору.

— У тебя тоже стали часы? — шепнул я Мизгину.

— Нет, — ответил он, скашивая взгляд на запястье. — А что? История с зеркалами, по-моему, любопытней.

— Ты заметил?

— Тсс... — прошипел демонолог, не оборачиваясь.

Скупое освещенные половицы хрустели под нашими шагами. В тенях ниш по обеим сторонам прятались уродливые статуи индийских богов. В их глазницы, видимо, были вставлены стекляшки, так как статуи провожали нас угрюмым, поблескивающим взглядом. Под высоким стрельчатым потолком клубилась тьма. Вся эта дешевка начала раздражать меня, но я не мог забыть зеркал, часов и серо-синего лица демонолога.

Мы куда-то свернули. Тут не было электричества, но в окна светила луна. Где-то вдали, неясно где, что-то гудело, как в трансформаторной будке. Я усмехнулся. В какой трепет мог привести даже этот неясный звук мистически настроенного человека! «Слабо, слабо», — подумалось мне.

Демонолог остановился.

— Ваша комната здесь. Ваша, — он повернулся к Мизгину, — чуть подальше.

Я открыл дверь. Комната как комната. Ее заливал яркий свет молочных плафонов, ослепительный после темноты коридора. Никаких занавесей, штофных полов, кроваво-черной обивки и тому подобных аксессуаров, создающих определенное настроение, здесь не было. Вполне современная мебель, голые, оклеенные свет-



лыми обоями стены, начищенный до зеркального блеска паркет, гладкий низкий потолок, забранные деревянной решеткой батареи отопления под окном.

— Кнопка здесь, под выключателем, — показал демонолог.

Его лицо снова имело обычный цвет. Ничего сатанинского не было и в глазах. Они смотрели сонно, лишь за черным отверстием зрачков скользил красноватый отблеск, нередкий у животных и почти никогда не встречающийся у людей.

— Спокойной ночи, — вежливо кивнул он и плотно притворил за собой дверь.

Я внимательно оглядел комнату, но и при повторном осмотре необычного в ней оказалось не больше, чем в любом гостиничном номере. Диван, кресло, журнальный столик, несколько стульев, на стене натюрморт с тремя апельсинами в натуральную величину.

У меня появились кое-какие соображения, пока нас вели сюда, но теперь, при виде этой банальной комнаты, они рассеялись. Все было элементарно просто: зеркала были чуть повернуты — такие вещи не всегда определишь сразу, — лицо демолога изменила полутьма, а часы...

Я покрутил завод. Секундная стрелка дернулась, но тотчас снова замерла. Ясно, часы нехоти сломались.

Было очень-очень тихо. За широким окном открывался голый пустырь, синевато освещенный луной. Надвигалась глупая, скучная ночь.

Меньше всего я, конечно, испытывал страх. Тут не до страха, когда ругаешь себя за глупость и злишься на обман.

Походив немного, я присел на диван, затем встал и приблизился к картине. В живописи я разбираюсь плохо. Но, по-моему, это была бездарная мазня. Тут и разгля-

дывать было нечего — ненатуральные кирпично-красные апельсины на глухом черном фоне, и только в правом нижнем углу два-три зеленых мерцающих мазка, должно быть подпись художника.

Чем бы еще заняться? Я взялся было за книгу, но мне не читалось.

Улечься спать мешал раздражающе яркий свет. Слишком яркий свет. Источник был всего один, хотя и разделенный на три плафона.

Я подошел к выключателю. Он был трехпозиционный, то есть поворотом рычага я мог гасить плафоны по очереди. Итак, условия договора соблюдались честно. Призраки — не более чем игра воображения, подогреваемая темнотой, и появление электричества не случайно так быстро уменьшило число рассказней на потусторонние темы. В сущности, оно заметно оздоровило людскую психику. Нелепо было бы ожидать, что сейчас, при мощном свете ламп, пока я стою спиной к комнате и поле моего зрения ограничено, там возникнет нечто призрачное или бесформенное...

Я резко обернулся и вздрогнул. Диван явственно прогнулся как бы под тяжестью тела, я даже услышал скрип пружин. Это был вообще первый звук, который раздался в комнате. Но на диване, естественно, никого не было.

Я тотчас пересек пустое пространство и решительно сел на диван, ощутив все же на мгновение робость, когда моя рука прошла над вмятиной. Потом я встал и рассмеялся про себя. Конечно, это была вмятина, которую я же и оставил. Их теперь было две — сиденье просто-напросто хранило отпечатки тела, чего я не мог предполагать заранее, так как диван был новым.

А нервы у меня все-таки напряжены...

И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Впечат-

ление было чисто интуитивное, потому что некому было смотреть на меня в ярко освещенной комнате, некому было спрятаться среди голых стен.

Передернув плечами, я приказал себе успокоиться и думать о чем-то другом. Я сел, но против воли стал обшаривать глазами комнату, так как подсознательно продолжал чувствовать на себе взгляд.

Это было невыносимо! Я должен был найти — не привидение конечно, — предмет, который вызвал во мне столь странное ощущение. Во что бы то ни стало!

Непонятно, как я не заметил его сразу... Глаз был. Зеленоватый, насмешливый, он смотрел на меня с картины и, казалось, даже подмигивал.

«Надо лечь спать», — сказал я себе, приближаясь к картине и разглядывая те самые зеленоватые мазки, которые составляли подпись художника, но издали производили впечатление глаза.

Что-то хрустнуло под ногами. А, черт! Я подпрыгнул. И чье-то дыхание коснулось моего затылка.

Медленно, не теряя рассудка, я повернул голову. Причиной дуновения оказалась приоткрывшаяся дверь.

Я со злостью толкнул ее, но, уже затворяя, заметил одну поразительную несообразность. Свет всегда образует луч, тогда как мрак — никогда; но здесь все было наоборот: не свет проникал из комнаты в коридор, а мрак из коридора в комнату!

Прежде чем я осознал это, дверь с жалобным всхлипом обрубил луч мрака, и он упал в виде черной ленты, которая немедленно всосалась в пол, точно жидкость, образовав на нем гладкую черную полосу. Вдруг ослабев, я привалился к двери. Полоса дернулась и очертила замкнувший меня круг.

«Не переступай!» — раздалось сзади.

Я шархнулся из круга. Он исчез, и тотчас во мне

все взвыло от нестерпимого, тошнотворного ужаса. Неистово запылали лампы. Липкий холод обдал меня с головы до пят. Я метнулся, раздираемый ужасом изнутри, из самых глубин подсознания, из вибрирующих нервных клеток, из бессмысленных взрывов обезумевшего инстинкта. Что-то с шумом упало, дзинькнуло стекло, и прямо передо мной вырос проем окна, откуда смотрело белое, искаженное, перекошенное — мое лицо!

Я отпихнул его ладонями, отскочил, но и сзади тоже было мое лицо, много лиц, все смотрели со стен, как из зеркал, и свет пылал неистово, беспощадно, до последней черточки показывая мне в призрачных отражениях, как корчится, гримасничает, прыгает мое лицо. Я кинулся на них, сжав кулаки.

Плохо помню, что было потом. Кажется, я молотил воздух, кажется, я бил себя по щекам. Я дрался с собственным лицом! Одинаково чужое, оно было везде. В бешеном сиянии ламп оно наступало отовсюду, и один глаз у него был зеленый, насмешливый, подмигивающий, не мой...

Не помню, как я очутился на полу. Только вдруг обвалом упал мрак, и в нем грянули чьи-то шаги.

Ближе, ближе, тяжелые, неотвратимые, они нарастали, а с ними вместе нарастал тот, кто шел, гигантский, из железа и мрака, подготовленный ужасом и несущий безумие. Вот уже дунуло из распахнутой двери...

— Чего кричишь? — послышался знакомый голос.

Путано, как пробуждение в кошмарном сне, проступили очертания дверного проема, фигура Мизгина в нем, свет фонарика...

— Стул-то брось, — мрачно проговорил он.

Мизгин вырвал из моих онемевших рук стул, которым я, оказывается, прикрывался, и потащил меня к выходу.

Опомнился я только на воздухе, да и то не совсем.

— Сволочи, — тихо ругался Мизгин, пока мы поспешно пересекали двор. — Занять демонов у науки... Сволочи! А могло бы быть завтра в газетах: «Встреча с нечистой силой закончилась безумием смельчаков». Чувствуешь, какая реклама их делу?

— Как? — вырвалось у меня. — Значит...

— Лаборатория ужасов, да... Здесь от одного инфразвука кою угодно скорчит! Не успею я заговорить демонов...

— Заговорить де...

— Выключить ток. Помнишь, гудело, когда мы шли? Трансформатор, как я и думал. Уверен, они не подадут на меня в суд за поломку.

Воздух был свеж, но меня била дрожь не от холода.



## ЗАПРЕТ

По мере того как Стигс осторожно развивал свою мысль, лицо декана хмурилось все более и более.

— Левоспиральные фотоны! — перебил он наконец Стигса. — Да, да, я понял: вы собираетесь искать левоспиральные фотоны. Почему бы вам заодно не поискать принцип вечного двигателя? Или координаты райских врат? Вы что, книги Гордона не читали?

— Я читал Гордона, — стараясь сохранить спокой-



ствие, проговорил Стигс. — Опыты были поставлены восемнадцать лет назад, когда не был известен «эффект Борисова». Теоретически есть надежда...

— Теоретически! — декан уже не скрывал раздражения. — А деньги на эксперимент я должен давать практически. Два миллиона!

— Миллион. Два миллиона стоили опыты Гордона. «Эффект Борисова» позволяет...

— Это я слышал. Вы как будто забываете, кто такой Гордон. Или вы полагаете, что «эффект Борисова» ему неизвестен? Гордон велик не только тем, что создал

единую теорию поля. Известно ли вам, что он ни разу не ошибался в своих выводах и предсказаниях? Известно ли вам, наконец, что опыты Гордона по левоспиральным фотонам повторяли, пробуя все мыслимые варианты, Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий — лучшие экспериментаторы мира! И ни-че-го! Левоспиральные потоки света — это миф, теплород, философский камень, мираж...

Декану было под шестьдесят, резкие морщины, как ни странно, молодили его, а не старили, костюм на нем был преотличный, но все это не имело ни малейшего значения. Кем бы ни был человек, сидящий в этом кресле, как бы он ни одевался, главным было то, что он распоряжался ассигнованиями, управлял многосотенным коллективом, был администратором и в этом качестве не мог поощрять авантюры, стоящие денег. И даже просто сомнительное не могло рассчитывать на его благосклонность. Но Стигс не терял надежды. Он предпочел бы не иметь с деканом дела, но и великому Гордону приходилось в свое время уламывать таких же вот людей. Интересно, стал бы Гордон великим, если бы ему это не удалось?

— По-моему, все ясно, Стигс, — жестко заключил декан и пододвинул к себе папку с бумагами, давая понять, что аудиенция закончена.

— Но вы не посмотрели отзыв Ван-Мерля! — воскликнул Стигс.

— Ван-Мерля? Да у меня завтра же будет десять отзывов виднейших профессоров, и в каждом будет сказано то же, что я вам сказал! Идите, Стигс, занимайтесь делом.

Стигс встал и почувствовал, что у него дрожат руки.

— Еще одно только слово...

Декан поднял голову.



— Пожалуйста, только без громких фраз о величии проблемы, необходимости риска и тому подобного оперения.

— Нет, я не об этом. Что, если... что, если сам Гордон скажет: «Опыты ставить надо»?

— Са-ам?

Декан удивленно откинулся на спинку кресла. Постучал кончиками ногтей друг о друга. Изучающе посмотрел на Стигса.

— Думаете переубедить Гордона? М-да... Примет ли он еще вас...

— Примет, — Стигсу показалось, что он ступил на тонкий лед.

— Ну, если Гордон.. Тогда посмотрим.

«...Какое счастье, что Гордон еще не умер! — подумал Стигс, подходя к загородному коттеджу великого физика. — Если бы он умер, спорить пришлось бы не с ним, а с его авторитетом. А авторитет не берет своих слов назад».

Стигс подбадривал самого себя. Вчера после разговора с деканом он десять раз поднимал трубку и десять раз клал ее обратно, прежде чем набрал номер Гордона. Вопреки всем ожиданиям, тот согласился сразу. Сразу! Вот что значит настоящий ученый. Болен, стар, замкнут — и сразу же отзывается на мольбу о помощи! Именно так скорей всего прозвучало его объяснение по телефону, которое Гордон выслушал молча и на которое минуту спустя — Стигс чуть не умер — коротко ответил: «Жду вас завтра в девять».

Завтра! В девять! Ждет! Он, живая легенда, ждет его, Стигса, рядового из рядовых! Ночь Стигс провел тревожно, обдумывая каждое слово, каждую интонацию,

переходя от отчаяния к уверенности, что все будет хорошо.

И вот теперь, у самых ворот, протянув руку к кнопке звонка, он с ужасом ощутил, что его голова пуста. Он забыл все, что хотел сказать, он не может связать двух слов, он не может двинуться с места!

Уф! Стигс опустил руку. Спокойно, спокойно... Ведь кто такой Гордон? Гений, равный Эйнштейну, но не папа же римский, не бог — ученый, человек... У него болят почки, он любит сажать розы, он безукоризненно честен и, говорят, добр.

Стигс даже не заметил, что жмет кнопку из всех сил. Он не помнил, как распахнулись ворота, как кто-то провёл его в комнаты, что-то на ходу ему втолковывая, как он снял плащ, как переступил порог...

— Здравствуйте. Садитесь.

Гордон полулежал на диване, и все равно Стигсу показалось, что тот возвышается над ним. Возвышается его голова, величественная, как купол собора, возвышаются его плечи, а грива седых волос — та и вовсе плывет облаком в недоступной вышине. И взгляд как будто издали, от мерцающих льдов великих мыслей, взгляд, видящий сокровенные тайны природы и туманные просторы вечности. Он сам уже принадлежал вечности, бронзе истории, этот светлый, отрешенный взгляд.

Гордон шевельнулся и поправил плед, которым были прикрыты колени.

— Рассказывайте.

Стигс заговорил, не слыша собственного голоса.

Минуты через три Гордон прервал его слабым движением руки.

— Понятно. Это не ваша ли статья была два года назад в «Анналах физики»?

— Моя... — У Стигса пересохло в горле.

— Вы красиво решили проблему флюктурирования гравитонов. Почему вы не продолжили работы в этой области?

— Потому что... Потому что я увидел оттуда мостик к левоспиральным фотонам...

— И это вас увлекло? Вы ни о чем другом не можете думать?

— Да... То есть... Не сами фотоны, а то, что за этим стоит...

— Что же за этим стоит?

Стигс ошеломленно посмотрел на Гордона. Проверяет? Смеется? Играет как кошка с мышью?

— Движение против хода времени, — выдавил он.

— А еще?

Стигс окончательно растерялся. Еще? Что «еще»? Какое «еще» он, великий, видит там, в своей вечности? Какие тайны открыты его уму, какие сокровенные свойства природы он прозревает за этим словом? Какие?!

Гордон едва слышно вздохнул.

— Хорошо. Как по-вашему, в чем цель науки?

Нет, Гордон не смеялся. Он менее всего был склонен смеяться — Стигс это понял. Взгляд Гордона был обращен к нему, он требовал и вопрошал — мягко, настойчиво, сурово.

— Цель науки в познании... в отыскании истины.

— Какой истины?

— Какой... что? Всеобщей истины! Природа...

— Оставим природу в покое. Расскажите лучше о себе. Все, с самого начала.

Гордон прикрыл глаза.

Стигс, ничего не понимая, повиновался. Но что он мог рассказать о себе? Как он пришел в науку, чем была для него наука? Об этом не расскажешь. Отец — пьяница, бесконечные ссоры в семье, вот тогда Стигс и нашел спа-

сение в книгах. В книгах о науке прежде всего. Они уводили его в чистый мир познания, где окрыленная волнением душа скользила над светлыми полями истины, где каждый шаг возносил человека к величественным скрижалям мироздания, начертанным среди звезд. Там, равные божеству, мальчика брали за руку, вели к сияющей мудрости Ньютон и Лобачевский, Дарвин и Эйнштейн, Снегов и... Гордон. Мальчика, который затыкал уши, чтобы не слышать визгливых криков матери, пьяной ругани отца, мальчика, который чувствовал себя грязным с головы до ног. Как он учился! С каким трепетом он приступил к своему первому самостоятельному исследованию! «Спинарный момент у вырожденных гравитонов». Он думал об этих гравитонах нежно, как о любимой девушке. Он мечтал узнать о них все, чего бы это ему ни стоило. Были дни, когда он шел по улицам, не видя их, а когда прохожие случайно задевали его, то грубое прикосновение внешнего мира уже не раздражало — оно не могло затронуть его реальности. Где-то в ином пространстве существовали будни, существовал футбол, кино, низменные разговоры, деньги, грубость, зависть — все то беспросветное, что окружало его в детстве... Теперь он, пусть еще неумело, парил над всем этим так высоко, как когда-то мечтал парить. Но разве слова могут выразить его чувства?

И непонятно было, слушает ли его Гордон, думает о чем-то своем или дремлет.

Стигс умолк. Гордон открыл глаза.

— Должен разочаровать вас, друг мой. Левоспиральные фотоны — это иллюзия...

«Он говорит как декан!» — побледнел Стигс.

— ... Не все теоретически возможное осуществляется в природе. Манящий огонек, болотный дух — вот что такое левоспиральный фотон. К сожалению, такие огоньки

всегда горят по обочинам науки. Я сам погнался за ним и потерял пять лет — каких лет! И Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий тоже. Не хватит ли жертв? Вы молоды, судя по вашим статьям, талантливы, не теряйте времени зря. Вот мой совет.

— Но «эффект Борисова»... Вы стучались в парадный вход, а там голая стена... Может быть, с черного входа...

— Ни с черного, ни с парадного нельзя проникнуть в то, чего нет. Едва Борисов открыл свой эффект, я тотчас пересмотрел все выводы. Ошибки нет. Ваш путь нереален.

— Но почему? Почему? Где я ошибся? В чем? Покажите!

Это было почти кощунством — требовать объяснения у Гордона, дряхлого восьмидесятилетнего Гордона. Требовать после того, как он твердо дал понять, что его слова — истина. Но нет, сейчас в этой комнате, где возникла единая теория поля, это не было святотатством. Оба они — и Стигс и Гордон — подчинялись одному закону, который был выше их, и этот закон обязывал Гордона представить доказательства. Он не мог его нарушить, иначе бы наука превратилась в религию, а он — в первосвященника.

— Что ж...

Стопка бумаги лежала на столике перед Гордоном. Он взял чистый лист, бережно разгладил, узловатые, плохо гнущиеся пальцы зажали ручку, и из-под пера суровыми шеренгами двинулись математические символы.

Это был приговор. Запрет очерчивался неумолимо, частокोल знаков был крепче надолб, выше железобетонных стен. Гордон спокойно перегораживал мечте путь, и просвет делался все уже, уже... Холодея, Стигс следил за неотвратимой поступью строк, за уверенным бегом пе-

ра, за жестокой логикой доказательств. Вот сейчас перо клюнет бумагу в последний раз...

Перо чуть запнулось, дрогнуло, помедлило...

— Дальше и так, надеюсь, ясно, — устало проговорил Гордон, отстраняя бумагу.

Он зябко потер руки и спрятал их под плед.

Стигсу показалось, что он сошел с ума! Приговор был написан, на нем стояла подпись и печать, но в доказательствах была брешь! Крошечная, почти неразличимая... С молниеносностью, его самого поразившей, Стигс разом охватил всю цепь доводов, мысль Гордона стала его мыслью, он додумал ее и...

Не может быть! В это невозможно поверить! Брешь не закрывалась. Ее нельзя было закрыть.

Стигс поднял глаза и едва не закричал. Перед ним был другой Гордон. Сгорбленный, немощный, с запавшим ртом, коричневыми пятнами старости на дряблых щеках. Он уже не возвышался, тусклые волосы не парили облаком — Стигс увидел его таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким его рисовало воображение. И Стигс чуть не разрыдался.

— Догадались все-таки... — прошелестел голос Гордона, и голова старика опустилась еще ниже. — У вас хватило смелости не поверить, и вот... Да, ваш путь тоже реален. Реален, потому что левоспиральные фотоны существуют. Я это обнаружил восемнадцать лет назад...

Стигс был безмолвен. В нем рушился мир. Падали звезды, обваливалось небо, умирали боги. Умирал он сам.

Рука Гордона узкой сморщенной ящерицей выскользнула из-под пледа и коснулась его плеча.

— Соберитесь с духом... Я спросил вас — помните? — что стоит за свойствами левоспирального фотона. Вы не

ответили. Вы не думали над этим. Отвечу я. В чем цель науки?

— В чем? — эхом ответил Стигс.

— В счастье человечества. Если наука не будет делать людей счастливей, то зачем она? Знания — это оружие, и если ученому безразлично, куда оно повернуто, то чем он отличается от солдата-наемника? Вы и над этим не думали, Стигс. Вы хотите найти левоспиральные фотоны — частицы, которые движутся к нам из будущего. Вы их откроете, как в свое время открыл я. А дальше? Дальше практика. Люди научатся видеть будущее. И управлять им, поскольку естественный ход событий, если знать, каков он, корректируем. Счастливей ли станет человечество? Оглянитесь вокруг, Стигс. Банкир пойдет на все ради сохранения своих капиталов, диктатор — ради сохранения своей диктатуры, карьерист — ради сохранения кресла. Тьма людей заинтересована в сохранении сегодняшнего порядка. Будущее им враждебно, ибо они догадываются, чем оно им грозит... Они и сейчас пытаются его предотвратить — вслепую. Этим людям вы дарите власть над будущим. Они уничтожат его, Стигс.

Помолчите, вы еще не все поняли... Утверждают, что Роджер Бэкон, открыв порох, засекретил свое открытие от всех, ибо предвидел, чем оно обернется. Благородный, но бесполезный жест. Полвека назад физики добровольно ввели самоцензуру, чтобы информация о их работах по расщеплению ядра не попала к нацистам. Поступив так, они тут же отдали свои знания Америке. Кончилось это Хиросимой. Но даже если бы они заперли свои лаборатории, то нашлись бы другие, которые все равно сделали бы бомбу. Не обязательно из чувства патриотизма, вполне достаточно чистой любознательности. Обдумав уроки прошлого, я решил поступить иначе, когда открыл левоспиральный фотон. Я объявил его

несуществующим. Я сказал мировой науке, что искать его бессмысленно. Доказательством были результаты экспериментов — фальсифицированные результаты. И мой авторитет. Я положил его, как колоду поперек тропинки. О, я не обольщался! Я знал, что когда-нибудь где-нибудь появится такой юнец, как вы, которого не устрасит мой запрет. Но мне важно было выиграть время. К счастью, опыты по обнаружению левоспирального фотона требуют денег. И немалых... Оттянуть открытие во что бы то ни стало! Ведь еще полвека... нет, меньше! — и в мире разительно все переменится. Тогда люди станут заглядывать в будущее лишь затем, чтобы предвидеть стихийные бедствия, лечить болезни до их возникновения. В это я верю. Я нарушил законы науки. Но не добра! И не вам меня судить.

— Я не сужу... — с трудом, точно ему не хватало воздуха, выговорил Стигс. — Но как же Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий?! — вдруг закричал он.

Гордон вскинул голову.

— Покойный Фьюа, покойный Шеррингтон, покойный Бродецкий были моими друзьями, — торжественно проговорил он.

И внезапно Стигс снова почувствовал себя маленьким — маленьким перед этим стариком, чей взгляд был полон гордого достоинства, чье лицо сейчас было точно таким, каким юный Стигс видел его на страницах учебников.





## СЛУЧАЙ НА ОМЕ

Как всегда перед закатом, в кустах громко чирикали «волки». С приближением человека они затихали. Потом из кустов высунулись две очень любопытные мордочки и, глуповато помаргивая, проследили взглядом удаляющуюся фигуру в скафандре.

Открытие этого распространенного на Оме грызуна поначалу шокировало. Мало того, что зверек являл собой уменьшенную карикатуру на волка, он еще и чи-



рикал! Но в конце концов юмор природы был оценен по достоинству, и «стеновию ому» — так официально был поименован зверек — нарекли «волком» или «во-во» (волковоробьем).

Внезапно уши зверьков встали торчком: смятение, испуг — оба порхнули, как от выстрела.

Вся эта сцена прошла мимо внимания человека. Раздвигая плечом плотный воздух, Майоров спешил по едва приметной тропинке, которая вела к буровой, где, как только что сообщили, ударил фонтан нефти. Исключительный, феноменальный! На всех планетах цвет неф-

ти был черный, бурый, желтый, иногда розовый. Здесь он был синим. Новая разновидность? Или что-то принципиально иное?

Не в том настроении был Майоров, чтобы подметить катящееся за ним бесшумное движение, которое спугнуло «волков».

К тому же он слегка отупел от бесконечной работы. С начала экспедиции спать приходилось урывками по два-три часа, а все жадность человеческая! Новая планета открывала столь несметные россыпи фактов, что золотоискательская лихорадка прежних времен выглядела бы сонной дремой по сравнению с приступами исследовательского азарта. От обилия фактов пухла голова, они подступали, как половодье, и самые потрясающие, как всегда, были те, к которым еще не дотянулись руки.

Темно-малиновое солнце Омы низко висело над вершинами леса. Небо отливало медью, и хотя стволы древолистов, неслышно скручиваясь винтом, уже развернули к закату свои грифельные полотнища, отчего на сырую почву пала тень, внизу стоял светлый красновато-золотистый сумрак. Тихо было, как в пустом соборе.

Таинственность освещения вдруг спутала мысли Майорова. Он поднял голову, огляделся. И тут он почувствовал на себе взгляд.

Он резко обернулся. Никого. Ничего. Багровым сиянием мерцали устилавшие почву мхи.

Майоров не был впечатлительным человеком. Людям иного склада вообще нечего делать на новооткрытых планетах, и в этом есть глубокий смысл. Острая впечатлительность означает, что сознание настежь открыто всем внешним воздействиям, а их на неисследованной планете чересчур много. Это все равно что поместить чуткую стрелку компаса в бушующее магнитное поле.

Поэтому Майоров лишь расстегнул кобуру плазмо-

пистолета и ускорил шаг. Отдав дань нервозности, вполне простительной, когда человек один и по лесу крадутся тени, он успокоился. Окрестные леса были хорошо изучены и безопасны. Разве что сюда мог забрести одинокий стратопаук...

Это было бы даже забавно.

Стратопауки отличались непонятной агрессивностью. Для органов обоняния любого животного закованный в скафандр человек — всего лишь глыба металла, а для зрения и слуха — движущаяся глыба. Кто же станет нападать на шагающий кусок железа? А стратопауки напали в первый же день. Плазменные пистолеты, разумеется, обратили их в пар, едва они, выскочив из кустарника, устремились к людям. Потом были еще две-три такие же попытки. Вскоре, правда, животные прониклись страхом и уже не попадались на глаза, чему в отличие от зоологов женщины экспедиции были несказанно рады. «Ну и тварь!» — воскликнула одна из них, впервые увидев стратопаука, и с этим мнением трудно было не согласиться. Людям свойственна брезгливость к подобным существам, но даже самый омерзительный земной паук выглядел бы писаным красавцем, если сравнивать его с десятилапым трехметровым комком шершавой слизи.

Возникла, конечно, вполне правдоподобная гипотеза, что у стратопауков есть особый орган восприятия, позволяющий им, несмотря на скафандр, по достоинству оценить вкус человеческого мяса. К сожалению, проверить ее не удалось, так как распыленный хищник не слишком удобный объект для исследований, а живого стратопаука за нехваткой времени поймать не удалось.

При мысли о встрече со стратопауком Майорова все же пробрала брезгливая дрожь. Он был чужд пред-

рассудков, но существуют же вещи, невыносимые для человека! Скрежет гвоздя по стеклу, например.

Почва пошла под уклон, вниз за стволами обозначилась темная щель оврага. «Еще четверть часа ходьбы», — подумал Майоров, спускаясь по склону.

Крутизна заставила его ступать боком. И тут он уловил позади себя какое-то движение.

Куст дрогнул, едва он обернулся, и на гребне в ярком свете заката вырос стратопаук.

От неожиданности Майоров потерял равновесие. В отчаянном прыжке он попытался ухватиться за ближайший ствол, но перчатки лишь царапнули кору, нога подвернулась, и он покатился кубарем.

Как падающая кинокамера, сознание выхватило красный лоскуг неба, вздыбившиеся черные стволы, ажурный клочок мха перед самым носом, темный провал внизу, боль, вихрь каких-то пятен, удар...

И все кончилось.

...Он лежал на боку. Боль в ноге наполняла мозг оглушительной пустотой. Окружающее проявлялось по частям, зыбко и путано.

Внезапно, рывком все встало на место. Метрах в пяти от него находился стратопаук.

Какую-то долю секунды все оставалось неподвижным. Неподвижно горел высоко в небе закат, неподвижно стояли огромные древолисты; животное, опираясь на щупальца, двое передних держало на весу, а его круглые, жутко фосфоресцирующие глаза в упор смотрели на поверженного человека.

Затем его передние щупальца дрогнули, а взгляд человека метнулся к кобуре. Она была пуста. Выпавший при падении пистолет лежал в грязи на расстоянии протянутой руки.

Рука Майорова медленно пошла к пистолету, а глаза

смотрели на стратопаука, только на стратопаука, и к горлу подкатывала тошнота, вызванная болью, отчаянием, видом шевелящихся щупалец с розовыми присосками, зазубренных жвал, мешковатого тела.

Передние щупальца стратопаука сплелись в змеином танце, жвалы задергались, по телу пробежала дрожь, воздух наполнили отрывистые звуки. Щупальце рванулось к Майорову, словно протягивая что-то. Рука Майорова нащупала оружие.

Стратопаук взвыл, именно взвыл, кольца щупалец распрямились, но ослепительная вспышка пистолета настигла прыжок.

Когда зрение восстановилось, Майоров увидел, что стратопаук лежит рядом с ним. Торопливый выстрел лишь задел хищника, но, к счастью, смертельно. Стратопаук умирал. Его щупальца конвульсивно дергались, оплетая, словно в мольбе, ноги Майорова. Рваная рана вскипала булькающими пузырями, глаза смотрели с упреком, а из черной пасти рта рвался дробный клекот.

Майоров брезгливо стряхнул с себя щупальца. Поврежденная нога отозвалась болью, но все же ему удалось встать. «Обыкновенное растяжение», — облегченно сказал он себе и уже с гордостью посмотрел на издыхающее чудовище. Тот все еще жалобно клекотал.

— Раньше надо было нападать, дура, — пробормотал Майоров и с удовлетворением подумал, что зоологам наконец-то достанется почти неповрежденный экземпляр.

Щупальце с отростками в последний раз дернулось и затихло. Отростки разжались. Майоров вздрогнул. Ему показалось... Нет, ошибки не было: в отростках был зажат какой-то предмет...

Он поспешно нагнулся. И чуть не закричал: то был свернутый в трубку кусок тонкой коры.

Дрожащими пальцами Майоров развернул трубку. На гладком листе был изображен человек рядом со стратопауком. Между ними, перечеркнутый жирным крестом, валялся плазмопистолет.

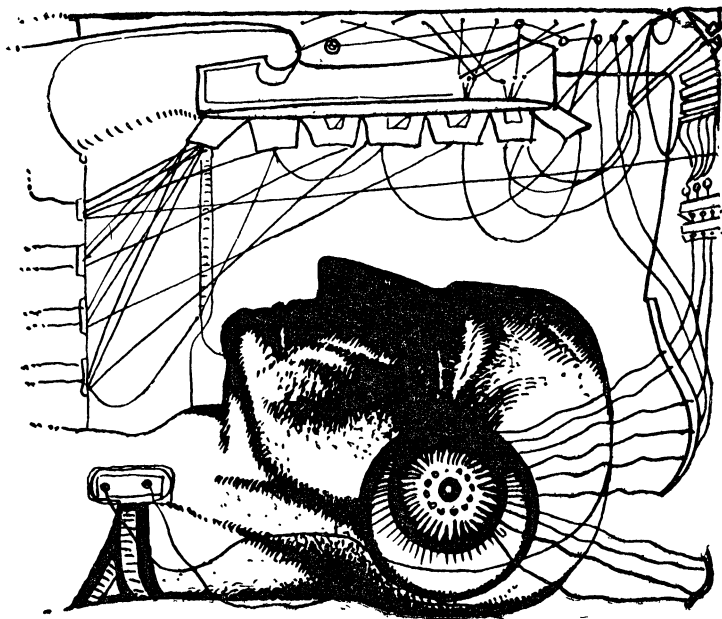


## ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Желтое, заострившееся, уже нечеловеческое лицо утонуло в подушке. Накрытое одеялом тело было столь плоским, что казалось — голова существует сама по себе. Даже не голова — обрубок мумии, восковой слепок, муляж с неряшливо приклеенными прядями жидких волос.

— Сэтти Товиус, покушение на самоубийство, десять таблеток пекталана, все обычные меры приняты,





состояние безнадежное, — скороговоркой пробубнил дежурный врач.

Профессор молча разглядывал то, что еще вчера было Сэтти Товиусом — человеком, служащим, налогоплательщиком, — а теперь являло собой полутруп. Все закономерно. Среда осуществляет отбор нежизнеспособных форм: так было миллиарды лет назад с амебами и водорослями, это же самое продолжается и теперь. Природная среда, социальная среда — какая разница! — отбор все равно действует.

— Совершенно безнадежен?

Врач кивнул.

— Что ж, — проговорил профессор. — Попробуем поспорить с природой.

Врач ничего не понял, но на всякий случай улыбнулся.

— Какая-нибудь новинка?

— Пожалуй. Радость и счастье, как известно, действенной любых лекарств. Проблема в другом: каким способом заставить пережить счастье того, кто завидует мертвым и сам уже почти мертвец? Его родственники здесь?

— У него их нет.

— Друзья?

— Пока что ни одного телефонного звонка.

Профессор вздохнул.

— Вот, милый мой, каков парадокс... Живет человек в центре большого города, ходит на службу, и кто он такой в действительности? Робинзон, социальный робинзон, который отчаялся когда-либо увидеть на горизонте корабельный парус... Ладно, к черту сантименты. Надо безотлагательно испытать на нем биотоковый метод моделирования счастья.

— Искусственное сновидение?

— Формально — да. Но переживать его он будет как настоящую, подлинную жизнь. И если после этого он из всех сил не потянется к свету, то... нет, я верю в успех.

Профессор отдал по телефону распоряжения, вынул пачку сигарет, пересчитал, сокрушенно покачал головой (еще далеко до полудня, а уже полпачки как не бывало) и закурил. «Тоже парадокс, — подумал он про себя. — Стараюсь нейтрализовать вредное влияние среды, а сам? Занимаюсь медленным самоубийством — накачиваю легкие дымом».

Сэтти Товиус раздвинул упругие ветви сосен, в разгоряченное лицо пахнул морской ветер, и белый, чистый, сверкающий, бесконечный берег молнией вошел в его сознание.

Он не поверил, зажмурился, обернулся к Ренате. Она смотрела широко раскрытыми глазами, и ее густые волосы крыльями бились на ветру.

Их руки встретились.

До моря было шагов двадцать. Они шли, взявшись за руки, и вокруг ширилась безбрежность неяркого голубого неба, мерцающего моря, пустынного пляжа, и редкие крики чаек тонули в безлюдной тишине.

Что-то давнее, забытое пробуждалось в Сэтти. Словно отваливалась шелуха, и он каждой клеточкой тела начинал ощущать теплое дыхание моря.

Пологие волны лизали и без того гладкий, плотно утрамбованный песок. Их прозрачный накат оставлял тающее кружево пены, но в неизменном постоянстве дела, которое они делали, было еще что-то завораживающее, чему никто еще не дал названия и от чего так трудно отвести взгляд.

Прошло, может быть, десять минут, может быть, гораздо больше, они все еще стояли неподвижно. Потом Сэтти резким движением сбросил с плеч рюкзак и сразу же почувствовал в теле необыкновенную легкость. Слева берег заканчивался мысом, справа уходил в голубеющую даль, и не было на всем его протяжении ни следа человека. Словно они вдруг выпали из времени. Словно они выпали из круга каждодневных обязанностей.

Он даже вздрогнул при мысли, что весь этот берег, все это море принадлежат им одним и что сами они тоже принадлежат лишь друг другу.

— Сейчас я достану купальники.

Он нагнулся к рюкзаку.

— Зачем? — спросила Рената. — Зачем?

Он засмеялся. Действительно, зачем? Она еще раньше поняла, что это и х берег.

Он смотрел, как Рената раздевается, как открываются ее плечи, спина, грудь, и не испытывал ничего, кроме огромной всепоглощающей нежности. Стройная линия ее тела была чудом, и непосредственность движений, которыми она открывала себя, и посмуглевшие на солнце руки, и гибкий поворот бедер, стряхивающий на землю последний лоскут одежды, и ее рассеянная улыбка — все было чудесно.

Он тоже разделся, и прикосновение босых ног к шелковистому песку взволновало его, как воспоминание детства.

Несколько бурных метров кроля — иначе его бы разорвала радостная энергия жизни, — и можно успокоиться, можно смотреть, как по песчаному дну струями жидкого золота переливаются отсветы ряби. Или перевернуться и лечь, откинув голову, в соленую морскую постель так, чтобы перед глазами ничего не было, кроме солнца и неба.

Но даже тогда он чувствовал близость девушки. И точно заколдованный круг мешал ему приблизиться к ней. Что-то могло треснуть, измениться в этом мире от одного неверно сказанного слова, неловкого жеста. Или, наоборот, обернуться наивысшим блаженством, если все будет естественно.

Белая, как морская соль, птица просвистела над ним тугими крыльями.

И он беспричинно засмеялся. И представил, как они живут здесь с Ренатой, как варится ужин на костре, как их укрывает ночь, как сосны шуршат за пологом палат-

ки, как утром над гладкой синевой воды встает солнце, как все это длится долго-долго — столько, сколько они пожелают.

Рената стояла поодаль, беглые ответы скользили по ее лицу. Он нырнул, и, когда совсем уже перехватило дыхание, его растопыренные пальцы коснулись наконец гладкого, упругого, рванувшегося, и он сам рванулся вверх, опрокидывая сильное, тяжелое, бьющееся тело девушки. Брызги, плеск, солнце, негодующий вскрик, близкие смеющиеся губы — и новый рывок в глубину, а потом все сначала — слепящий удар брызг по глазам, смех девушки, сумятица и радуга, мелькнувшая на солнце.

Он схватил Ренату, мгновение пересиливал сопротивление ее рук, и внезапно сопротивление ослабло, и вся она — длинная, тоненькая, теплая, вдруг ставшая маленькой и доверчивой, прижалась к нему, откинув голову и полураскрыв рот. И все поплыло перед ним, и ничего больше не осталось, кроме прохлады моря, слившихся объятий, запрокинутого лица — радостного, загадочного, близкого, дорогого, ждущего.

И тотчас их объятия разошлись.

Все вернулось на свои места — полуденный берег, запах хвои и запах моря, капельки воды в волосах Ренаты.

Они вышли на берег, обсохли под горячими лучами и, ни словом не обменявшись, пошли вдоль кромки прибоя.

Им больше не нужно было слов. Не только поступки, но и желания, мысли слились теперь настолько, что предел блаженства стал бесконечным. Он шел рядом с Ренатой, смотрел на трогательные отпечатки ее босых ног в песке и неожиданно для себя опустил на колени, поцеловал тот след. Рената остановилась, запустила пальцы ему в волосы и, зажмурившись, тихонько дернула их. Он смотрел на нее снизу вверх — восемнадцатилетнего мудрого ребенка, — и сердце колотилось так, что он по-

спешно встал, коснулся ее щеки ладонью и быстро пошел вперед.

Он знал и раньше, что она красива, но это теперь не имело значения. Он любил и раньше ее ловкое, свежее тело, быструю подвижность живого лица, открытую, доверчивую улыбку и нежную глубину карих глаз, но это было совсем не то. Так могло быть часто и со многими, а теперь она была единственной, и они принадлежали друг другу навсегда.

Белый кварцевый песок, по которому они шли, был чистым и тонким. Мириады крохотных ракушек хрустели, покалывая подошвы ног. Чуть выше границы прибоя попадались предметы, выброшенные морем: темные и гладкие куски дерева, ажурные плети водорослей, мутное, обкатанное стекло, чешуя, потерявшая блеск.

Они повернули к соснам, в жаркую пустыню песка, горячо дышащую в ноги. С предчувствием открытия приблизились и увидели ручеек, струящийся из леса к морю, — прозрачный, нагретый, полный мальков. Зашли в воду и долго брели так, овеваемые ветром, пока ручей не расширился и вода не похолодела, потому что близко был родник, скрытый в зелени. Они раздвинули ветви и густую траву, и он открылся им — светлый зрачок воды в оправе влажного мха и черных ослизлых камней.

Не сговариваясь, они легли на мох вниз животом, от их губ побежали круги. В роднике заколыхалось отражение ветвей и неба. От ледяной воды заныли зубы, обоих проняла дрожь, и несколькими огромными прыжками они вымахали наверх, туда, где на осыпанной хвоей поляне лежали косые полосы солнца.

Стало ясно, что здесь будет их дом, их палатка. Смолистая теплынь охватила их. Сквозь мохнатые ветви сосен сверкало море. Сэтти взглянул на девушку и увидел, что та стоит, закрыв глаза, и лицо ее словно спит.

Он тоже закрыл глаза, плечи их коснулись друг друга. Они вздрогнули, как от удара тока, их руки сплелись. И как тогда, в море, все поплыло, исчезло, стало багрово-темным, и только щемящий вкус губ, нетерпеливые толчки языка о язык, податливая мягкость земли и долгая, сладкая, сжигающая смерть в объятиях.

А когда все это наконец кончилось и иссякло, мир был так же хорош, как и прежде.

Лениво плыло облачко над ветвями, голова Ренаты покоилась у него на плече, иголки покалывали спину. Тонкий, падающий с неба звук разбудил мысли. Высоко в сияющей синеве купался крохотный остроклювый самолетик.

Сэтти узнал его даже на таком удалении, и в нем шевельнулась гордость. Он был здесь, на земле, но он был еще и там, это его мысль, воплощенная в стремительном стальном теле, неслась над планетой, побеждая ветер и расстояние.

— Мой ребенок... — выговорил он.

Девушка поняла и нахмурилась.

— Как жаль, что ты не можешь принадлежать только мне...

Но в голосе ее уже не было сожаления. Она давала ему свободу, ничего не прося взамен, с легкой грустью признавая за ним право быть самим собой.

Он благодарно прижал ее к себе.

— Ты мне нужна такая, какая ты есть. И не меняйся, пожалуйста.

— Я и не думаю меняться. Хочу от тебя четырех детей. Чтобы утирать им носы и покупать игрушки.

— И дом, — сказал он. — И сад. И чтобы каждый вечер приходили друзья. Нет, не каждый, а то я соскучусь по тебе.

— Будет, — сказала она. — А потом ты каждое утро

будешь уходить в свое противное конструкторское бюро...

— А ты каждое утро будешь рисовать свои противные картины и злиться, когда не получается.

— Не буду я злиться. Злишься, когда есть талант.

— У тебя отличные рисунки. В них чувствуется душа вещей.

— Если так, то у тебя будет злая жена.

— У меня будет хорошая жена. Лучше всех.

— Всегда?

— Всегда.

Луч солнца перебрался на лицо. Если неплотно прикрыть веки, то мир за сеткой ресниц становится радужным и туманным. Покачиваются в вышине размытые вершины сосен, и ветер гудит в них, как в мачтах корабля. Мачты прочерчивают облака, планета бережно несет тебя на своей широкой, дружелюбной спине. Ему нет еще сорока, таких дней у него будет много.

\* \* \*

Сэтти Товиус сидел, положив руки на колени, и односложно отвечал на вопросы профессора.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, спасибо.

— Вам известно, что вас вернули с того света?

— Да, спасибо.

— Ну и как он выглядит? — рискнул пошутить профессор.

Голова пациента слабо дернулась, на тощей шее напряглись жилы.

— Я выздоровел, господин профессор? — не поднимая глаз, ответил он вопросом на вопрос.

— О да! То есть, конечно, такая встряска отнюдь



не прошла для вашего организма бесследно. Умеренность и еще раз умеренность! Не следует волноваться, пить, больше будьте на свежем воздухе. И никаких снотворных. Ни-ка-ких! После такого отравления даже две таблетки пекталана для вас убийственны. Надеюсь, однако, вы не намерены повторять опыт?

На этот раз лицо Сэтти Товиуса скривилось в улыбке, и профессору стало не по себе: казалось, что под пергаментной кожей нет ничего, кроме костей.

— Я был глупцом, профессор. Да, конечно, я был глупцом.

— Вот и прекрасно! — шумно обрадовался профессор. Теперь ему хотелось поскорей закончить этот разговор. — Ну, желаю вам всего лучшего... в новой жизни.

Он встал. Встал и Сэтти Товиус, неподвижно глядя себе под ноги.

— Послушайте, профессор...

— Да?

— Вы не могли бы... Эту ленту с биотоками или как там ее... В общем, запись... той жизни вы не могли бы дать мне в пользование?

Профессор покачал головой.

— Это невозможно.

— Но... почему?

— Во-первых, нужна специальная аппаратура, которая стоит сотни тысяч. Во-вторых, необходим строгий врачебный контроль. В-третьих—поймите, это главное,— нельзя жить искусственной жизнью.

— Почему?

— Потому что... Но это же ясно! Впрочем, достаточно и первых двух ограничений.

— Понятно...

Он неловко поклонился, отчего голова его привалилась к плечу, и шагнул к выходу. Черт, и костюм на нем

был какой-то обвислый, серый, унылый, как и он сам.

Профессор подошел к окну. Вот по аллеям больничного сада бредет человек, которого он спас. Да, да, вытащил из смерти тем, что дал ему искусственное счастье и разбудил волю к жизни. Метод оправдал себя, метод спасет еще многих людей, а его, автора, ждет слава. Все прекрасно в это солнечное утро. Профессор с удивлением заметил, что в руке его дымится сигарета. Он заглянул в пачку — так и есть: наполовину пуста.

\* \* \*

Профессор опоздал, и, когда он поднялся наверх, его встретил дежурный врач и привычной скороговоркой доложил:

— Сэтти Товиус, повторное покушение на самоубийство, все обычные меры приняты, состояние тяжелое, но непосредственная опасность миновала.

— Он в сознании? Может говорить?

— Да.

Профессор с такой быстротой устремился к палате, где ночник скупо освещал восковое, заострившееся лицо Сэтти Товиуса, что полы халата взвились у него за спиной, как крылья архангела.

— Зачем... зачем вы это сделали?

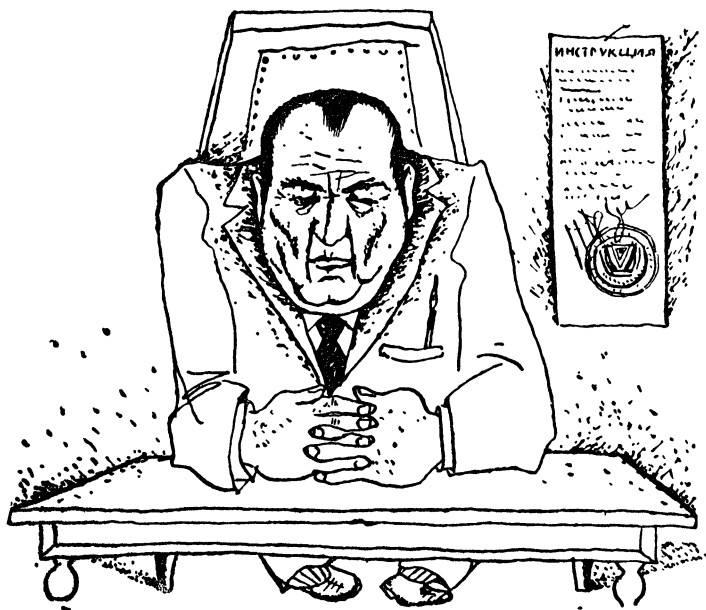
— Я... хотел... чтобы... повторился... берег.

Хрипящий голос, казалось, выходил из разорванных легких.

— О господи! Но почему?

— У меня... никогда... не было... этого... в жизни... Ничего... похожего.

«И уже не будет никогда», — подумал профессор, тупо глядя на жалкое подобие человека, именуемое Сэтти Товиусом.



## АДСКИЙ МОДЕРН

Степан Порфирьевич Демин — мужчина лет пятидесяти с тусклым взглядом и мышинной сединой в волосах был изрядной сволочью. Не удивительно, что в один прекрасный день к нему явился дьявол.

Адский чиновник был в отличном немнущемся костюме из синтетики, белой нейлоновой рубашке с серебристым галстуком-плетенкой. В когтистых лапах он держал элегантный портфель марки «атташе»,



а в клыках у него дымилась заграничная сигарета «Кемел».

— Вами совершенно ровно тридцать три подлости, — любезно сообщил он Демину. — Ввиду этого мы уполномочены забрать вашу душу.

— Позвольте! — возмутился Демин, даже не предложив гостю сесть. — Насколько мне известно, лимит подлости...

— Совершенно верно! Но не далее как месяц назад адское управление срезало лимит ровно вдвое.

— Но это же незаконие! Произвол!

— И снова вы совершенно правы: беззаконие. Во многих частях света беззаконие нынче в моде. Фашистские перевороты, попрание конституции, всякие там хунты... Да что говорить! Ад старается идти в ногу с прогрессом вообще и со злодейством в частности.

— Могли бы предупредить...

— Ну что вы! Тогда это уже не было бы чистым произволом. Понимаете?

Дьявол ласково улыбнулся и сел, поигрывая хвостом. Демин удрученно кивнул, но внезапно его осенила какая-то мысль.

— Ваш документик, пожалуйста.

Дьявол небрежно швырнул на стол свое удостоверение личности.

Демин надел очки, внушительно кашлянул, ощупал корочку документа, сверил дьявольское рыло с изображением на фотографии, колупнул ногтем адскую печать и со вздохом вернул удостоверение.

— Теперь я хотел бы ознакомиться с правилами изъятия душ, — сказал он, тяжело глядя сквозь очки.

— Не беспокойтесь, они несложны. Во-первых...

— Не надо. У вас должна быть инструкция.

Дьявол кисло сморщился.

— Проклятая бюрократия! — пробормотал он. — Ведь наукой доказано, что...

— Наука наукой, а бумага бумагой, — назидательно проговорил Демин. — Почему я должен верить вам на слово? Не в моих это правилах. Надеюсь, и не в адских тоже.

Дьявол смиренно наклонил голову и извлек из портфеля увесистый том, на переплете которого пылало огненное слово: «Инструкция».

Степан Порфирьевич углубился в ее изучение. Посапывая от удовольствия, он время от времени вопросы-

тельно вскидывал брови, благоговейно шевелил губами и тщательнейшим образом вникал в текст. Его обычно тусклые глаза сверкали, будто sprysнутые живой водой.

Скучающему дьяволу все это надоело, и он, бесцеремонно развалившись в кресле, включил телевизор, где транслировался хоккей с шайбой. Хоккей его так увлек, что он закурил две сигареты «Кемел» сразу и увеличил звук до предела.

— Вы мне мешаете, — скрипуче заметил Демин.

— И великолепно, — не поворачивая головы, отозвался дьявол. — Трудности создаются затем, чтобы их преодолевать. Вы согласны?

Демин покосился на азартно подрагивающий хвост дьявола и ничего не возразил. Он сам был мастер создавать трудности. Одарив дьявола испепеляющим взглядом, он снова погрузился в чтение.

— Да-а, — сказал он наконец, — толково составлена. А я-то думал, что договор надо писать кровью.

— Устаревшее, крайне негигиеничное правило! — фыркнул дьявол. — Вот вам бланк, заполняйте, и дело с концом.

Он даже не потрудился оторваться от телевизора — там истекали последние минуты матча, а исход игры был все еще сомнителен. Нужный бланк сам выпорхнул из портфеля и лег перед Деминым. Тот осторожно взял его кончиками пальцев, придвинул чернильницу и неразборчивым канцелярским почерком заполнил графы. Едва он поставил число и подпись, как из портфеля выскользнула большая круглая печать и с громом прихлопнула документ.

Запахло чем-то адским.

— Мне как, уже собираться? — осведомился Демин.

— Помолчите! — рывкнул дьявол, бурно аплодируя решающему голу.

Выключив телевизор, он с посветлевшим рылом обернулся к своей жертве.

— Ну что, заполнили? Великолепно. Так, так, все по форме... Люблю иметь дело с образованными грешниками, — острием когтя он размашисто поставил визу. — Сейчас мигом слетаю в ад, зарегистрирую договор и... Да вы не расстраивайтесь, старина! «Все мы потерянное поколение», как сказал Хемингуэй. Всем вам жариться на сковородке... простите, в инфракрасной духовке. Се ля ви!

Он помахал договором, захлопнул портфель и со словами: «Не беспокойтесь, муки у нас организованы по последнему слову психоанализа!» — испарился.

Минуту спустя он возник снова.

— Вот что, старина, — сказал он небрежно. — Договорчик придется переписать.

— Это еще почему? — встрепнулся Демин.

— Вы заполнили бланк чернилами. Нельзя чернилами, да к тому же еще фиолетовыми. Только шариковой ручкой, а еще лучше — фламастером. Наш ад, повторяю, неукоснительно следует прогрессу вообще и прогрессу канцелярской техники в частности. Перепишите.

— Не буду, — твердо сказал Демин.

— То есть как это не будете?!

— А вот так. Не Хемингуэем надо было увлекаться или там еще другим каким современным, а следить за правильным ходом делопроизводства.

— Но, но, — неуверенно проговорил дьявол. — Лимит вашей подлости исчерпан, и потому...

— И потому, молодой человек, договор, однажды зафиксированный уполномоченным преемственной, в случае установления впоследствии несоответствия его с утвержденным образцом, чему причиной было коварство душеотдатчика, подлежит пересоставлению лишь с согласия

последнего. Если же такового согласия не будет, то душеотдатчик вступает с адом в новые взаимоотношения, регламентированные параграфом «Вельзевул-117», из которого следует, что данный душеотдатчик проходит уже не по разряду «сволочей», а по разряду «гносных гадин», которому соответствует удвоенный лимит подлогнустостей. Такова адская инструкция, с которой вам не мешало бы ознакомиться получше.

Рога и копыта дьявола побледнели.

— Но это же формалистика... — прошептал он.

— За несоблюдение которой вы получите выговор. Так что сгиньте с моих глаз немедленно. Инструкцией заклинаю. Раз...

— Послушайте! — завопил дьявол, скверно воняя серой. — Ваша подлость взяла, но на будущее... Откуда, откуда вы взяли чернила?! Их же теперь не сыщешь даже за бессмертие души...

— А я, молодой человек, некоторым образом — хе-хе! — консерватор. Так-то оно, знаете ли, надежней.





## ГОЛОС В ХРАМЕ

На них были тяжелые, пышные одежды, гирлянды желтых цветов, и, если бы не стража с копьями, можно было подумать, что двое землян возглавляют торжественное шествие.

Плоские крыши, галереи, улицы были запружены одетой в лохмотья толпой, шевелящейся, грозно гудящей, словно рой встревоженных пчел. У Шайгина не вырвали из ушей кристаллики транслятора, сочтя их,



видимо, за часть тела, и он понимал, что кричали, выли, орали эти человекоподобные существа:

— Жертва священному Храму! Кровь и Голос! Кровь... праздник... голос... победа!

Сипло гудели трубы, бухали барабаны. Процессия медленно двигалась к Храму. Люди знали, что там их ждут долгие истязания во славу какой-то непонятной и чудовищной религии, а потом смерть. Толпа знала это еще лучше и ликовала, неистовствовала, возносила хвалу Храму и Голосу, которые даровали им столь волнующий праздник.

Шайгина мутило от омерзения. Ужасной казалась не смерть и даже не страдания, а то, что их, звездолетчиков и ученых, будут хладнокровно и радостно пытаться безмозглые фанатики, тупо верящие тем не менее в свою разумность. Порывы ветра вздували темные одежды шагающих рядом жрецов, и каждый раз людей окатывал тошнотворный запах грязного, сального тела. И вот эти лоснящиеся от пота руки, эти крючковатые пальцы с черными когтями, дрожа от сладострастия, будут вскоре жечь их раскаленным железом, пронизывая мозг безумной болью! Мозг, вмещающий такие знания, что даже капли их хватило бы всей этой толпе для избавления от болезней, голода и невежества.

— Лайтинг бы сюда... — слышался шепот Бренна. — И по рожам, по рожам...

Брэнн дернул связанными руками, и Шайгин почувствовал почти осязаемо, как у того напряглись мускулы и как нерастраченная ярость дрожью пронизала тело беловолосого гиганта.

— Не надо, Брэнн, — сказал он едва слышно. — Это недостойно. Ведь это дети, слепые, жестокие, глупые дети..

Брэнн зло засмеялся. Удивленные стражники настойчиво наставили копья.

— Я брошусь на эти копья, если «Эйнштейн» не поспеет, — сказал Брэнн.

— «Эйнштейн» не поспеет, а на копья нам броситься не дадут, — ответил Шайгин. — Все равно выше голову!

— Я и так задрал ее аж к самому небу... Как вспомню, что где-то там есть «Эйнштейн», есть лаборатории, книги, друзья... Эх! Как ты думаешь, если долго,

очень долго и очень спокойно — не так, как в разговоре с жрецами, — объяснять этим человекоподобным, что возможна другая жизнь, что существуют общие для всей вселенной законы развития, что мы можем помочь им выбраться из дерьма, в котором они тонут, — поймут? Или лучше для их же блага стереть всю их так называемую цивилизацию?

Шайгин посмотрел на беснующуюся толпу. В ней не было лиц, вся она была единым перекошенным, жадным, иступленным лицом.

— Нет, — сказал он твердо. — Не поймут. Мы для них диковинные, непонятные, может быть, опасные пленники. Тем слаще радость победы, тем большую ценность мы представляем для жертвенного алтаря. Простая и ясная логика, а все, что сверх этого, не существует,

— Поздно мы это поняли.

— Поздно. За последние две сотни лет мы успели забыть у себя на Земле, что разум может быть настолько невежественным и жестоким.

Это было правдой. Ни Шайгин, ни Бренн не были подготовлены к вероломству. Когда «Эйнштейн» засек на этой планете аномалию, которая могла быть пропавшей полтора галактических года назад «Европой», а могла ею и не быть, капитан сказал: «Берите скайдер, проверьте и возвращайтесь. На большее у нас нет времени». «Европа» была обычным пилотируемым кораблем, но к этой звезде из-за дальности расстояния ее послали под управлением автоматов, и она исчезла где-то здесь, в этой планетной системе.

Сознание отказывалось верить, что со времени их вылета прошло больше шести часов... Они сели неподалеку от аномалии и, перед тем как начать разведку, вышли наружу только потому, что слишком уж здесь

все походило на Землю. Они, безусловно, отказались бы от встречи с аборигенами, чьи поселки были замечены с орбиты, но те неожиданно вышли навстречу из-за деревьев со столь доверчивым жестом протянутых ладонями кверху рук, что это подкупило людей. Где же им было догадаться, что, пока идет обмен улыбками (с безопасного расстояния!), гонец уже оповестил воинов и те крадутся по сомкнутым кронам деревьев, чтобы вдруг обрушиться водопадом тел.

Да, в смелости и хитрости воинам нельзя было отказать...

Городские улицы кончились, и процессия втянулась в рощу. Здесь дорога сузилась, жрецы придвинулись к пленникам, и Шайгин пытался разглядеть на их замкнутых, причудливо раскрашенных лицах хотя бы тень сомнения. Напрасно. Как и там, в зале суда, они не проявляли даже любопытства. В кристалликах транслятора уже тогда накопилось достаточно информации, так что звездолетчики понимали жрецов, а те могли понять перевод земной речи. Могли понять! С тем же успехом земляне могли обращаться к раскрашенным чурбанам. Жрецы не хотели понимать. Родись Шайгин на полтора-два столетия раньше, его не поразила бы эта способность ограниченного разума: тогда и на Земле было сколько угодно людей, которые могли, но не хотели понимать ничего, что противоречило их представлениям или задевало их близорукие, шкурные интересы, даже если то была истина, способная в итоге спасти от гибели их самих. Но у Шайгина и Бренна такого опыта не было. С наивной пылкостью они говорили о разуме, братстве цивилизаций, космическом гуманизме, а в ответ им говорили «бог», «вера», «храм» и в промежутках обсуждали, надо ли считать странных пленников исчадьем зла или просто врагами. Для жре-

цов это было очень важно, так как от формулировки решения зависел ритуал казни.

В конце концов жрецы сошлись на том, что людей надо считать и врагами, и исчадьем, и еще, кроме того, верохулителями. За первое полагалась смерть, за второе неизвестно что, означавшее «испытание Голосом», за третье пытка и тоже смерть. Шайгин лишь потом сообразил, что если бы он и Бренн не пытались втолковать жрецам идею множественности миров, то их не признали бы верохулителями и они избежали бы пыток.

Храм открывался постепенно, его громада как бы вырастала по мере приближения, словно не к нему шли навстречу, а он шагал поверх деревьев. И когда он весь оказался на виду, то Бренн выругался, а Шайгин подумал о том, что более беспощадного сооружения он еще не видел. Человек выглядел муравьем у подножья этой черной, давящей пирамиды, вершина которой неожиданно завершалась остроконечной башней. Тупая масса пирамиды подчиняла себе башню настолько, что ее стройная белизна превращалась в свою противоположность — в перст, грозящий с неба, в сверкающий меч, занесенный над головами.

Вне четырехугольника, очерченного шеренгой стражи, у подножья пирамиды стояла толпа. Все было залито безжалостным светом чужого солнца, но черный камень пирамиды был тем не менее тускл и мрачен. Посредине ее склона запекшейся раной зияла красная облицовка портала; там, по обе стороны врат, четверо воинов держали зажженные факелы.

Процессия замерла. Как в хорошо отрепетированном спектакле, жрецы, музыканты, часть стражи попятились назад, и посредине образовавшейся пустоты остались люди. Тысячи взглядов скрестились на них.

— А башня-то из металла... — тяжело дыша, проговорил Бренн. — Эта цивилизация выше, чем нам кажется.

— Это ни о чем не говорит... Наши предки мучили друг друга и при свете электрических ламп.

Внезапно напряжение спало. Величаво поплыли створки порталных врат, блеснули вскинутые в приветствии щиты воинов, толпа повалилась на колени, и из глубины пирамиды на свет выдвинулась фигура в мерцающем серебристом одеянии. На мгновение Шайгину почудилось, будто у фигуры вместо головы череп, но потом он разглядел, что это была маска.

Фигура величаво простерла руки. Толпа лежала ниц, так что видны были лишь спины и выпяченные зады.

— Кажется, будет речь, — с надеждой сказал Бренн.

Именно сейчас, должно быть, прошли все сроки контрольных вызовов, на борту «Эйнштейна» взвыл сигнал тревоги, и гигантский корабль готовится к броску, который должен перенести его от центрального светила, где он сейчас находится, к планете, на которой фигура с черепом вместо головы (царь? главный жрец?) собирается говорить с народом. На весь этот маневр уйдет часа два. Только бы затянулась речь!

— Что он говорит? Что он говорит? — поминутно спрашивал Бренн, который в суматохе схватки лишился транслятора.

Пот заливал глаза, и раскаленная площадь, коленопреклоненные ряды, длинная фигура в маске казались яркими и плоскими, как картинки в горячечном сне.

— Он говорит, что свет не видывал столь мудрого народа, — переводил Шайгин, еле шевеля пересохшими губами. — Он говорит, что только благодаря вере и Голосу, чьим смиренным служителем он является, вои-

ны одержали славную победу над человекоподобными исчадиями зла... Над нами то есть. Бездна трескучих слов и минимум информации... Теперь он поносит другие верования. Они-де обман, их приверженцы спят и видят, как бы разрушить Храм, поработить народ; это грязные, бессовестные, лукавые людишки... Словом, обычный перенос своих собственных качеств на всех инаковерующих. Игра на тщеславии дураков — вы, мол, избранники... Сосуды истины, добра, мужества и все такое прочее. Ни у кого нет такого Храма, ни у кого нет Голоса. Похоже, что оратор — Верховный служитель самого Голоса. Да, но что же это в конце концов такое — Голос? Ага, ага, вроде бы начинаю понимать. Голос спрятан в Храме. Разумеется, он принадлежит богу... Он изрекает, он предсказывает, он указывает, он поражает... Вероятно, что-то вроде дельфийского оракула... Или озвученных святцев... Ясно! Исчадия зла падают ниц, слышав Голос... Боюсь, что нас попытаются заставить упасть перед ним на колени.

— Сначала я уложу на пол двух-трех жрецов, — пообещал Бренн.

— Я тебе помогу... Умирать, так хоть не овцами... Этот тип в маске говорит, что перво-наперво нас подвергнут испытанию Голосом... Сейчас он красиво расписывает, чем и как он затем будет нас мучить... Они просто свихнулись на садизме. Это патология, которую надо лечить...

— А ты ничего держись, — сказал Бренн. — Только бледнеть не надо, на нас смотрят.

— Это из-за жары... Ну, опять словоблудие насчет величия веры, мудрости жрецов, бессильной ярости врагов... Как по-твоему, от лжи и тупости может тошнить? Похоже, что меня сейчас вывернет...

— Ты еще можешь смеяться!



— А что нам остается? Увы, он кончает речь... Видишь, все встают...

— Скажи им пару теплых фраз.

— Не могу... Что бы я ни сказал, все будет оскорблением...

— О! Быть может, оскорбившись, они быстренько прикончат нас...

— Все равно не могу.

Барабаны ударили разом, от ликующего вопля толпы заложило уши, медные щиты в руках стражи сверкнули молниями, колыхнулись копья, и люди двинулись в свой последний путь. Со ступени на ступень, выше, выше; ступени были такие узкие, что приходилось неотрывно смотреть себе под ноги, и Шайгин с Бренном не заметили, как очутились перед прохладной темной порталом. Они бросили прощальный взгляд назад — на кипящую восторгом площадь, дремотное марево горизонта, блеклое небо, в котором скрывался «Эйнштейн», — и створки врат, коротко скрежетнув, поглотили их.

Низкая камера, лестница, камера, опять лестница. Это было шествие среди теней. Отброшенные светом факелов, они сопровождали людей, раздувались на закопченном потолке, беззвучно бежали по стенам, грозно заступали путь. Стальными жалами вспыхивали наконецники копий. Фигуры жрецов плыли неслышно, как черные привидения. И во главе их двигался Верховный служитель Голоса.

Крутой поворот внезапно открыл камеру больше и шире прежних. В мерцающем свете ожили, оскалились изваяния чудовищ. И даже у людей дрогнули нервы при взгляде на сводчатый потолок, где висели сотни черепов.

Жрецы вдруг запели. Унылый и суровый гимн на-

полнил камеру. В такт ритму колыхалось багровое пламя факелов, вытягивались из углов тени, подрагивая, шевелились под потолком оскаленные черепа.

Пение завершил мрачный речитатив.

— О Голос, великий, всемогущий прорицатель воли божьей, мы идем к тебе с новой жертвой! Прими нас!

Передняя стена дрогнула. Нет, то была не стена, а траурный занавес; он поплыл вверх, открыв каменную кладку, а в ней — узкий дверной проем. Бренн ахнул.

— Этого не может быть!

Но это было. Они увидели в проеме голубой отсвет металлопластиковых стен коридора, темные зеркала экранов, пульт управления в глубине и бегущие по табло змейки мнемографиков. Только вместо кресел стояли какие-то жаровни и станки с ремнями.

— Рубка «Европы»... — прерывающимся голосом прошептал Бренн. — Жрецы замуровали звездолет...

— И превратили рубку в алтарь... — хрипло отозвался Шайгин. — Или в камеру пыток...

Им в спину уперлись копья. Повинуясь, они вошли в коридор, приблизились к пульта. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить: пульт цел.

Сзади жрецы затянули новый гимн.

Шайгин оглянулся. Лица четырех переступивших порог святилища воинов были бледны как мел.

Широким торжественным шагом сбоку зашел служитель Голоса, воздел руки кверху и повелительно крикнул:

— На колени, исчадия зла!

— Падай, падай! — слышал Шайгин.

Прежде чем он успел понять смысл сказанного, Бренн рухнул перед пультом, выбросил вперед связан-

ные руки, так что их удар пришелся по клавиатуре пульта.

Ослепительно вспыхнул свет, взревел сигнал аварийной тревоги, сомкнулись переборки, мгновенно отрезав рубку от зала с черепами.

Бренн вскочил. Шок обратил стражников и жреца в восковые куклы, которые без стога валились навзничь под ударами Бренна и Шайгина.

Минуту спустя пути были перерезаны, стражники связаны содранными со станков ремнями. Бренн отключил сирену, и люди перевели дыхание.

В наступившей тишине слышались глухие удары о стену.

— Ерунда, — сказал Бренн. — Переборки выдержат. Двигатель, если верить приборам, мертв, но аппаратура связи действует нормально. Сейчас вызову «Эйнштейн» и...

Он чуть не подпрыгнул.

Позади него прозвучал мерный, потусторонний голос:

— Докладывает контрольный автомат! Температура снаружи — двести девяносто три по Кельвину. Давление...

Опомнившись, Бренн захохотал.

— Так вот он каков, божественный Голос!

Голова Великого служителя Голоса дернулась. При падении маска-черепа свалилась, и теперь на земляном глядело нечеловеческое лицо с белыми от злобы глазами.

— Я недооценил вас, проклятые пришельцы со звезд...

— Как? — опешил Шайгин. Ему показалось, что он ослышался. — Ты... ты понял, кто мы такие?! Сейчас?

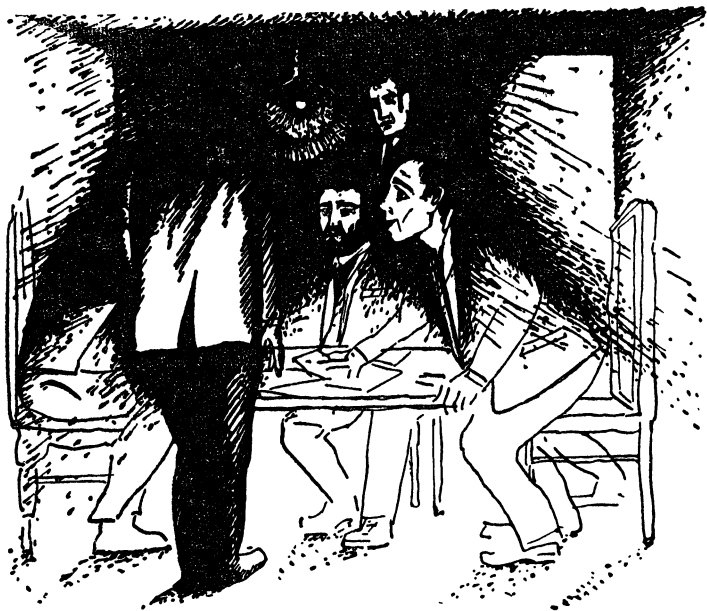
— Раньше...

— Тогда почему же?! Почему вы так поступили с нами?

— Власть укрепляется верой. Веру укрепляют жертвы. Разум опасен для веры. Будьте вы прокляты... прокляты...

Голова жреца снова дернулась и бессильно упала.

— Повторяю, — мерно возвестил автомат. — Температура снаружи — двести девяносто три по Кельвину...



## ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИСУТСТВОВАЛ

В тот вечер мы, как всегда впятером, собрались у Валерия Гранатова. Самый проворный занял кресло хозяина, остальные удовлетворились стульями, и работа началась.

Мы часто сходились так затем, чтобы вместе сочинять приключенческие повести. Поначалу столь обычная в науке и столь редкая в литературе форма содружества казалась нам оригинальной забавой, могущей



развлечь нас и читателей, но постепенно что-то стало меняться. Наши способности, знания, темпераменты сплывались настолько, что возникла как бы общая, самостоятельная личность, отчасти похожая на нас, а отчасти совершенно нам незнакомая. С удивлением мы заметили, что она обретает над нами власть. Она не желала ограничиваться созданием искусственного вымысла, она хотела большего и ради этого большего требовала от нас полной душевной отдачи. Мы должны были или раствориться в этом новом качестве, или разойтись, а мы не хотели ни того, ни другого. Легко выло-

жить из кармана мелочь ради дружеской забавы, но слить капитал для поимки журавля в небе — дело иное. Весы колебались, и этот вечер мог решить все.

Итак, настроение у нас было смутное. Отмечу мимоходом, что обдумывание сюжета впятером выявило одну странную особенность мышления. Порой наши мысли как бы входили в резонанс. Быстро, четко, с полуслова разматывались сцены, мы зажигали друг друга идеями, находки легко перепархивали из рук в руки, обогащаясь на лету. В такие минуты мы были счастливы особым, редким счастьем коллективного мышления.

А потом все необъяснимо разваливалось. Мы глохли. Пустяк, на уяснение которого одиночка потратил бы секунды, требовал невероятных усилий. Мы словно гасили мысли друг друга. И если резонанс приподнимал нас к чему-то особенному, яркому, то противофаза давила гнетуще.

К несчастью, работа в тот вечер началась как раз с противофазы. Воображение чадило, мы говорили мертвые слова, и это было невыносимо, как похороны. Я смотрел на жесткий свет настольной лампы и думал: есть тысячи простых радостей, зачем мучиться ради чего-то призрачного, очевидно недоступного? Подозреваю, что так подумывал каждый.

— А если наш герой начнет таким образом... — безнадежно выдавил из себя Валерий после очередной тягостной паузы.

Но его перебил звонок в прихожей.

Шаркая шлепанцами, он вышел и скоро вернулся, пропустив вперед человека с портфелем, который когда-то был рыжим. Человек косо поклонился и сел. Я не успел удивиться его приходу, ибо Валерий уже с порога проговорил дрогнувшим голосом:

— Ребята, а что, если...

То, что он сказал затем, было такой великолепной находкой, что мы, забыв обо всем, онемели от восторга.

И пошло. От этого вечера у меня сохранилось лишь общее впечатление какого-то напряженного блаженства, как если бы мы шли в гору и каждый шаг развертывал пейзажи один ослепительней другого. Мы уже не сочиняли повесть, мы видели чужую жизнь до самого дна, потрясенно проникали в тайные помыслы неизвестно как возникших людей, любовались, ужасались внезапным движением их характеров, ловили их жесты, слова, и надо было только записывать, записывать, записывать, так как уже неясно было, что реальней — вот эта прокуренная комната, где мы сидим, или тот мир, который ожил в нашем сознании.

И не было уже меня, не было нас, был тот общий, что растворил нас в себе, странным образом приподнял и дал какую-то особую, ни с чем не сравнимую зоркость. Состоянию, подобному этому, не было равного ни до, ни после. Оно объясняло жизнь лучше сотен учебников, мы все понимали, все знали и все могли, как боги.

Лишь в ничтожные мгновения спада, когда чуть-чуть проступила реальность той комнаты, где мы были, я вспомнил о постороннем и долю секунды задержал на нем взгляд. Он сидел бочком, жмурясь и потирая руки, как с холоду у огня. «Славно, славно!» — шептал он. Я не успел его толком разглядеть, но у меня осталось ощущение, подобное тому, какое вызывает в нас вид старых домашних вещей, неважно каких даже. Ощущение чего-то уютного, надежного и необходимого. Мимолетно я удивился этому. Во время напряженной умственной работы лишний всегда мешает своим присутствием, а здесь этого не было.

Все, что ни делали мы в этот вечер, было хорошо.



Мы не спрашивали себя, так ли, как надо, развивается сюжет будущего произведения, — мы знали, что он может развиваться только так. Мы не выбирали слов для описаний, они приходили сами, единственно верные, светящиеся изнутри.

И, кончив в пятом часу утра, мы знали, что сделали все, ничего другого делать не нужно, главное, что дает произведению глубину и подлинность, — уже легло на бумагу.

Мы как-то даже разочарованно переглянулись. Говорить не хотелось. Мы были сладко опустошены. Человека с портфелем уже не оказалось в комнате, он исчез незаметно. Мы оделись, никто о нем не вспомнил.

Хозяин, накинув на плечи пальто с узким бархатным воротником, провожал нас. Уже в скрипучем лифте я спросил его невзначай:

— Валерий, кто этот твой приятель, который просидел с нами весь вечер?

Валерий медленно изумился.

— Мой приятель? Я его впервые видел. Он пришел к кому-то из вас.

Мы переглянулись. Выяснилось, что никто раньше человека с портфелем в глаза не видел.

— Что же это такое? — озадаченно спросил Валерий. — Послушайте, это чушь какая-то!

— Но ты же его впускал! — хором сказали мы.

В глазах Валерия промелькнуло выражение, словно он пытался что-то вспомнить.

— Ну да... я его впустил.

— Ничего не спросив?!

— Он поздоровался... Я хотел спросить, но тут у меня мелькнуло соображение насчет сюжета, я совершенно машинально пропустил его вперед... А потом стало как-то не до него...

— Так, — сказал я, сдерживая зевоту. — Понятно. Может, кто-нибудь что-нибудь объяснит?

Мы стояли в вестибюле, по сторонам которого располагались двери рыбного и молочного магазинов, так что в полутемном вестибюле пахло сразу и молоком и рыбой. Никто из нас ничего объяснить не мог. Просто так к незнакомым людям никто не заходит. Просто так в гостях у чужих людей за полночь никто не засиживается. Дальше ясности не было.

Самое удивительное, однако, что эта загадка как-то не очень нас волновала. Не то было настроение.

— Сочиняя приключения, мы сами попали в приключение, — вяло сострил кто-то.

Мы еще немного пообсуждали случившееся и расстались, обменявшись усталыми-недоуменными улыбками.

Прошло много месяцев, которые нисколько не объяснили загадку, как вдруг я столкнулся с нашим незнакомцем на улице среди ясного дня.

Странно, но я узнал его сразу, хотя он был в старом романовском полушубке, который делал его приземистой фигурой еще приземистей. Я же до встречи вовсе не был уверен, что узнаю его даже в том двубортном костюме, в каком он был тогда.

— Здравствуйте. У меня к вам есть вопрос, — решительно шагнул я к нему, ибо его метнувшийся взгляд рассеял последние сомнения.

Он робко глянул на меня снизу вверх, рука с потертым портфелем дернулась, словно он хотел им прикрыться.

— Здравствуйте. — тоненько проговорил он. — Как поживает ваша повесть?

— Замечательно, — сказал я, нисколько не преувеличивая. — Но, простите за нескромность, кто вы такой?

— Тусклая у меня фамилия... Федяшкин я... Петр Петрович.

Лицо у него было под стать фамилии. Брови и ресницы желтоватые, выцветшие, щеки старческие, дряблые, и нос картошкой.

— Вы сейчас будете у меня спрашивать... — тоскливо сказал Федяшкин, отводя взгляд. — Может, не надо? Главное, чтобы повесть удалась...

Он даже обернулся, ища возможность нырнуть в толпу. Такой возможности не было, — я ненароком прижал его к тротуарному ограждению.

— Простите, Петр Петрович, но вы же понимаете, чем вызван мой интерес. На моем месте вы бы тоже...

— Понимаю, понимаю, но объяснить ничего не могу.

— Не хотите?

— Не могу, честное слово! Да разве вам плохо было от моего присутствия? К чему вам знать еще что-то?

Мы обожаем тайны в книгах и не любим их в жизни. Я не исключение. В конце концов и книжные тайны мы любим лишь потому, что на последних страницах они разъясняются.

— Нет, — сказал я твердо, хотя и сознавал нелепость ситуации. — Вы обязаны объяснить.

Его круглая фигура как-то сжалась, даже на полушубке прибавилось складок.

— Вы же не поверите... — он тоскливо оглянулся.

— Я слушаю.

— Вы сами позвали меня...

— Мы?!

— Ваши мысли.

Невольно я вздрогнул. Его губы тотчас тронула печальная и вместе с тем торжествующая улыбка.

— Вот видите, я предупреждал. Не надо вам знать.

Очень хорошо! Федяшкин был шизиком.

Я снова взял себя в руки и проговорил уже спокойно:

— Продолжайте.

Нет, он не хотел продолжать, он думал, что теперь я его отпущу. Напрасная надежда. Я, сам не знаю почему, был готов взять его за шиворот дряхлого полушубка, лишь бы поскорей вытрясти из него признание. Я даже сделал мысленное движение к этому. И он испугался, как будто действительно прочел мои мысли!

— Не надо! — закричал он. — Вы заморозите себя! Скажу, так и быть, а потом вы меня отпустите, ладно? Ах, молодой человек, как вы безрассудно поступаете со своим мозгом!

— Итак, вы телепат. Давайте дальше.

— Нет! Я не умею читать мысли! Но я ощущаю их, когда они... Понимаете, я, конечно, человек неученый... Но если кто-то думает, так в его мозгу какие-то... эти... потенциалы меняются, излучения происходят. И когда разгорается мысль, когда она создает что-то, от нее исходит... тепло. Знаете, такое хорошее, хорошее тепло! Ну, этого я почти не замечая, только вообще, фон, так сказать... А вот если она особенно разгорается, как тогда у вас, меня туда и тянет.

— Все это любопытно, — перебил я нетерпеливо. — И почти не противоречит науке. Но сами себе вы противоречите здорово.

— Как же это? Не может быть!

— Может. Когда вы пришли, наши мысли чадили, а не разгорались. Чадили! Так как?

Федяшкин сконфузился. Мне этот своеобразный шизик начинал нравиться. Он был не просто безвреден, он был еще и трогателен в своих фантазиях. А все же почему он пришел именно к нам?

— Нет здесь противоречия, — неуверенно сказал он. — Только не считите это за хвастовство...

— Да?

— Что вы видите вокруг?

Он слабо повел рукой. Машинально я проследил взглядом очерченный им полукруг. По своим делам и заботам спешили насупленные граждане, собачьими хвостиками вились автомобильные выхлопы, по карнизам важно гуляли голуби, визжал трамвай, заворачивая на проспект.

— Так вот, вокруг всего этого витает облако мыслей, — таинственно понизив голос, сказал Федяшкин. — Но ярких точек, когда создается что-то новое и значительное, пока немного. Потому каждый язычок пламени драгоценен. А у меня свойство... Только опять же не считите это за тщеславие... Мое присутствие сразу разжигает огонь. Разве вы этого сами не заметили? Нет, нет, — воскликнул он, как бы защищаясь. — Сам я никто, бухгалтер на пенсии, но свойство у меня такое есть — помогать другим думать. Оттого я к вам и пришел. Я ко многим хожу, так надо, им хорошо, мне, всем людям хорошо. Не верите?

Конечно, я не верил. Нисколько не верил. И все же в моей непоколебимости была маленькая трещина: его слова в принципе могли объяснить все, что случилось с нами в тот вечер.

— Отлично, — нашелся я. — Продемонстрируйте.

— К чему? — огорченно сказал он, переминаясь. — Все одно не поверите.

— Поверю, — упрямо возразил я и без всякой логики почти уверовал, что так оно и будет.

— Пойдемте, — покорно согласился Федяшкин.

Я слишком изумился, чтобы возразить. Мы свернули в переулочек, другой, третий. Федяшкин шел не быстро,

но достаточно уверенно, только лицо его приняло отрешенное выражение, точно он слушал какую-то далекую музыку.

— Куда мы, собственно, идем? — не выдержал я наконец.

— Не мешайте! — вдруг резко сказал Федяшкин.

И сразу засмутился с головы до пят.

— Простите... Я и сам не знаю, где-то здесь... Конечно, мы могли бы зайти в институт рядом, там тоже... Но туда не пустят без пропуска. Но мы уже близко!

Я махнул рукой и только подивился, как это я влез в столь фантазмагорическую авантюру.

Скоро мы пошли уже дворами, какими-то переходами, потом стали подниматься по лестнице, самой заурядной, с бумажками и сором у люков мусоропровода.

Федяшкин остановился перед дверью на седьмом этаже.

— Здесь.

Он заметно волновался, губы его побелели, и голову он наподобие улитки норовил втянуть в воротник полушубка.

Звонок неуверенно дзинькнул.

Дверь отпер хмурый парень в спортивном костюме.

— Вы к кому? — спросил он как-то равнодушно.

Я посмотрел на Федяшкина. Он был жалок.

— Вот мы хотели бы... — пролепетал он. — Мы из... Ведь вы работаете?

— Работаем, — подтвердил парень.

И тут что-то изменилось в его лице. Оно стало отстраненно осмысленным — таким было лицо Валерия Гранатова, когда он в тот вечер вернулся к нам из прихожей.

— Ладно, объясните потом, — нетерпеливо буркнул

парень, и я был готов поклясться, что он уже не видит нас и не думает о нас. Это было более чем странно.

Он не стал даже ожидать, пока мы разденемся, а исчез за дверью, откуда слышались восклицания, смех и затем все стихло. И когда мы вошли, то увидели трех парней, склонившихся над столом, где были разложены какие-то чертежи. Впрочем, чертежи валялись и на полу.

Следующий час был самым фантастическим из всех прожитых мной. Мы с Федяшкиным тихо сидели в углу, а парни, не обращая на нас внимания, работали в каком-то сдержанно-бешеном порыве. Я нервно курил, поначалу ожидая, что нас вот-вот вышибут с позором. Но им было не до нас, и, может быть, даже, появившись тогда сам Наполеон, и это не отвлекло бы их внимания. Они отрывисто обменивались непонятными радиотехническими терминами, иногда переругивались, но больше писали молча, и во всем их поведении не было ничего внешне вдохновенного, лишь глубочайшая сосредоточенность. Федяшкин отнюдь не торжествовал, он тихо восторгался, он весь светился блаженством, он любил этих парней, обо мне он просто забыл.

Потом он внезапно тронул меня за руку.

— Пойдемте, они кончают работу.

— Что они делают? — прошептал я.

— Откуда я знаю? — также шепотом сказал Федяшкин. — Что-то изобретают. Идемте, идемте, ради бога!

В полном ошеломлении я скатился по лестнице.

— Правильно получилось, — бормотал Федяшкин, спотыкаясь на ступенях. — О, они сделали сегодня что-то большое... Как славно, что они нас пустили. Бывает, знаете ли, что и не впускают. Правда, редко, я обычно как-то сразу действую...

Я не очень вслушивался в его бормотание, потому что пытался придать мыслям рационалистический характер, и отчасти преуспел. Такая операция просто необходима, она как защитный рефлекс. Любое самое чудесное чудо мы прежде всего подводим под известное, чтобы уберечь себя от психологических перегрузок. Далее, по привыкнув, мы смелеем.

Ход моих мыслей, пока я плелся за Федяшкиным, был примерно таким. Он не шизик. Его присутствие, похоже, в самом деле стимулирует творческие способности. Допустим Ну и что? Для миллионов людей это, можно сказать, профессиональная обязанность. Учителя сами не производят ни материальных, ни духовных ценностей. Они передатчики знаний и, главное, стимуляторы умственного и нравственного роста детей — настоящие учителя, конечно. В этом великий смысл их профессии, как я ее понимаю. Рассеивать свои мысли и поступки так, чтобы они золотой нитью вплелись в чужую жизнь, неузнанными ожили потом в открытиях и достижениях будущего, — труд, важнейший для общества. И разве только учителя делают это? Как атомы тела не гибнут после смерти, а вступают в новый кругооборот, так и духовные движения, будучи переданы другим, существуют вечно, незримо переходя от поколения к поколению.

Но это не все. В процессах неорганической природы участвуют катализаторы — таинственные соединения, которые, внешне не вступая в реакции, придают им энергию и мощь. Процессы органические катализируют ферменты. Почему бы и в процессах психических не быть своим катализатором и ферментам? «Почему бы?» — как попугай повторял я, тупо глядя в спину Федяшкину.

Новое соображение ускорило мой шаг.



— Послушайте! — схватил я Федяшкина за руку. — Если вы... э... стимулируете умственные усилия других, то почему я не ощутил этого сразу, как встретил вас на проспекте? Или вы не действуете на одиночек?

Он не высвободил руки (вообще его действия отличались покорностью) и ответил смущаясь, но с достоинством.

— Отчего же... Одиночкам мне тоже удастся способствовать. Но разве ваши мысли были близки к творчеству, когда мы встретились?

Он с извиняющейся улыбкой посмотрел на меня.

— Не надо, не требуйте объяснения, я его сам не знаю... Мне не удалось стать в жизни кем-то, я лишен больших способностей, я лишь присутствую при пиршестве и тем мню себя полезным, что способствую обдумыванию вещей высоких. Здесь нет моей заслуги, что эта особенность у меня так сильна. Это, знаете ли, как голос — у кого он есть, тот поет хорошо, а у кого нет, тот и не научится, но будет хорош чем-то другим... Прежде я робел вот так ходить к незнакомым людям, чтобы погреться самому и других согреть. А теперь и смерть близка, надо торопиться сделать должное, я и перестал бояться, что меня выгонят, как приبلудного нищего, и славно все получается, а отчего и почему — не моего ума дело. И в том еще моя радость, что год от года у нас все больше костерков разгорается и ко всем мне уже не поспеть, будь я сам-десять... А в чем мое огорчение, так в том, что на нравственное-то горение я влиять неспособен, нет к тому у меня таланта, а вот у брата моего покойного был. Эх!

— Стойте! — догадка пронзила меня. — Если существуют подобные вам люди-стимуляторы, то, значит, люди-гасители тоже есть?

— А как же, — с грустью произнес Федяшкин. —

А как же, замораживатели тоже есть. Не встречали разве? Ну, вы извините, я пошел, дом мой тут рядом.

Я машинально пожал его мягкую руку, проводил взглядом округлую фигурку Федяшкина, валко переваливающуюся на плохо гнущихся ногах. И только когда он скрылся, обругал себя олухом. Я не спросил сотой доли того, что надо было спросить, не записал даже адреса!

Впрочем, это было исправимо: ведь существует адресный стол.

До конца дня я оставался — иначе не скажешь — в состоянии какого-то ясного ошеломления. Все было стройно в моей гипотезе, за исключением одного. Бесспорно, есть люди, чье присутствие ускоряет любое дело, — я сам знал таких. Да, но их влияние всегда ощутимо конкретно. Оно в словах, жестах, смехе. Они участвуют в работе, а не присутствуют при ней! А Федяшкин только присутствовал...

Успехи науки приучили нас с любым недоумением обращаться к ученым. Так и я было решил поступить. Воображение нарисовало радужную картину того, как я звоню профессору X, академику Z, как они спешат к Федяшкину... Но тут же я отрезвил себя. Не поможет профессор X, не поможет академик Z. Люди со странными и удивительными способностями науке известны. То объявится человек, могущий быстрее электронно-счетной машины извлечь кубический корень из шестизначного числа. То придет сообщение о человеке, который никогда не спит. Много чего необыкновенного заложено в человеке, но разобралась ли наука в этом необыкновенном? А ведь тот же человек-счетчик ни у кого сомнений не вызывает: пожалуйста, вот результат его феноменальных способностей — на доске! Изучай как угодно... Изучают. Дальше что?

А Федяшкин даже так не может продемонстрировать свои способности. Они вообще не могут быть выражены в цифрах или еще в чем-нибудь столь же конкретном и убедительном. В Федяшкина можно верить или не верить, но вера не доказательство для науки.

Наконец я решил, что отыщу адрес Федяшкина, посижу с ним вечерок-другой, а там видно будет.

Как бы не так! Пришла верстка книги, потом я заболел, потом... Потом были какие-то очень важные, очень срочные дела, какие — уже не вспомню, а только безотлагательные все были дела. И за ними история с Федяшкиным не то чтобы забылась, а как-то слиняла.

И тем не менее встреча произошла.

Как и в тот раз, я столкнулся с ним на улице. Был необычно жаркий май, самое его начало, асфальт плавился под горячими лучами солнца, а деревья еще не распустились, и в знойном небе, проглядывавшем сквозь по-зимнему голые ветви, было что-то ненормальное. Федяшкин зябко сутулился, а кисти рук сами собой втягивались в рукава. Он прошел мимо меня не заметив, и мне пришлось его окликнуть.

Он вздрогнул, растерянно покосился на меня, узнал, но словно бы издали, как если бы я был точкой на горизонте.

— Вам нездоровится? — спросил я.

— Нет, отчего же, — неуверенно произнес он. — Мне просто холодно.

— В такую жару?

— А ветер?

Невольно я огляделся. Ветра настолько не было, что полотнища праздничных флагов висели не шелохнувшись.

— Разве вы его не чувствуете? — в голосе Федяшкина послышался упрек. — Он дует... дует давно, сегодня особенно... Над древней и мудрой культурой стужа. Неужели вы... Да, да, извините! Я забыл, к вам же не доносится последний крик мысли...

— Вот вы о чем!

— Но почему, почему вы этого не чувствуете, как смеете не чувствовать? Разум замораживают, разум пытаются льдом, он корчится и гибнет, а вам тепло?

Федяшкин почти выкрикнул это и, выкрикнув, обесилел. Я молчал, неловко переминаясь.

— Смерть мысли ученого еще не так страшна, — продолжал он сникшим шепотом. — Она неуничтожима, понимаете? Не будь Ньютона, закон тяготения был бы открыт, и без Эйнштейна теория относительности была бы создана. А если бы погасили Льва Толстого? Рукою нищего мы могли бы обшаривать века, но даже вечность не вернула бы нам «Войны и мира»! Никогда, ничто, никто в самом светлом будущем не восполнит таких утрат! Оттого беда! — голос Федяшкина окреп. — Оттого в ком-то замрет человечность, в ком-то не проснется мысль, кого-то не согреет тепло... Но даже в науке, даже в науке! Вы представьте, как замедлилось бы все, заморозь кто-нибудь мысли Маркса! Нет, вам не понять, что я... совсем не понять, какая мука слышать последний крик убиваемой мысли, какое безнадежное отчаяние ловить мольбу о помощи, не в силах защитить!

— Да вы успокойтесь, — сказал я, сам взволнованный.

Но Федяшкин успокоиться не мог и говорить больше не мог, он плакал, тоскливо, по-старчески всхлипывая. На нас с недоумением оглядывались.

Как ребенка подвел я его к автомату, пробившись

сквозь очередь, напоил водой и хотел было отвести домой.

— Мне некогда! — воскликнул он с внезапным пылом, когда я сказал ему о своем намерении. — Я иду к тем, кто сейчас думает, не задерживайте, я должен успеть!

Насилу я уговорил его встретиться еще раз...

Не пришлось. Он умер в тот же день, упав, как я узнал потом, на бегу, — видимо, спешил куда-то. Прохожие его подняли, соседи по квартире похоронили, потому что ни родных, ни друзей у Федяшкина не оказалось. Словом, он умер, как и жил, тихо, и никто не заметил, что нет больше Федяшкина — человека со странной способностью усиливать мысль других. Я и сам не ощутил пустоты, только грусть и некоторое сожаление, что мой порог он не переступил ни разу, когда я работал, а теперь уже не переступит никогда.

Повесть, что мы писали тогда при молчаливом присутствии Федяшкина, имела успех, но, разумеется, никто из нас публично имя Федяшкина не помянул, один я поблагодарил его мысленно, испытывая при этом какую-то неловкость.

И все. Жизнь богата оборванными ситуациями, незавершенными наблюдениями, встречами без начала и конца, всем тем, что не укладывается в рамки рассказа, понятно для посторонних. Мы их храним в себе, с собой и уносим.

Так бы и я поступил с этой историей, если бы не вчерашняя газета. В ней давал интервью автор одного выдающегося открытия, и там была такая строчка: «Особенно я должен поблагодарить П. П. Федяшкина, который помог мне смело подойти к проблеме».

Больше ничего не было о Федяшкине, кроме этой строки, но меня она больно задела. Кто-то помнил его

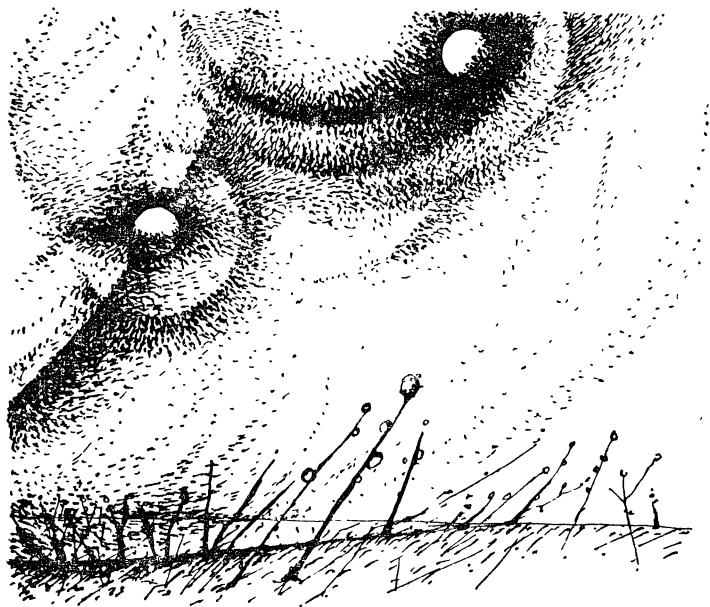
и был ему благодарен, а мне этой щедрости не хватило. Словно я молчаливо согласился с тем, что способность помогать другим менее ценна, чем любая другая. Поняв это, я уже не мог не написать о Федяшкине, чье присутствие было так же незаметно и так же необходимо для жизни, как присутствие фермента необходимо для здоровья тела.



## ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Он шел по красной, холодной равнине уже вторые сутки — вперед, только вперед. На нем был приметный ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского воздуха вторглось гудение мотора.

Он шел походкой автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Из прой-



денного пути в память запали какие-то обрывки; все остальное слилось в туманную полосу, а прежняя жизнь отдалилась куда-то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.

Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильнее болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке — он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали.



Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишённого притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинаясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.

Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы изменялось, и свист ветра в ушах (точнее, в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватывал мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.

Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем был некрут, он не сбавлял шага, а при спусках даже ускорял и радовался, что холмы помогают идти быстрее, хотя это был явный самообман и он знал это. В детстве он любил воображать, что не идет, а едет, что он сам автомобиль и вместо ног у него четыре колеса. Приятно было самому себе «наддавать газ», то есть идти быстрее, «выворачивать руль», избегая столкновения с прохожим, и «жать на тормоза». Сейчас он тоже казался себе машиной.

Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем красней делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за неровностями уже копились сумерки. Они затаились там, словно бархатные лапы хищника. Ветер как-то незаметно смолк. Все оцепенело, и на Севергина — так его звали когда-то, но теперь это не имело значения — повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночи, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни.

Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все-таки надеялся в глубине души, что его спасут... Конец светлого дня означал конец надежды.

Издали от синюшных вздутий эретриума, пересекая тени, прокатилось что-то живое, приблизилось к Севергину. Взгляд маленьких, розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Севергин положил руку на пистолет. Но зверек, удостоверившись в присутствии чужака, не задерживаясь, побежал по своим делам. Какой-то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живо и не случайно исчезнет еще до того, как солнце вновь окрасит равнину.

Севергин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя! Кто-то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предрешило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему?

Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело.

Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. А ему хватило ста, чтобы изнемогнуть.

Так было всегда.

Он родился неполноценным, не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба, — тысячи людей не могут есть чего-то: кроме неудобств, это ничего не создает. Природа отказала ему в более важном — силе. Он был не болезненней других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку.

Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие, как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставят ограничитель. А вот в его организме такой ограни-

читель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привернутый фитиль не способен на яркое пламя.

Сверстники снисходительно презирали его за слабость, а учителей физкультуры он доводил до бешенства. Если врачи ставят диагноз мальчишке «здоров», если парень нормально сложен, то какое он имеет право, позоря их, мешком висеть на канате?! Физкультура была кошмаром детства и юности Севергина. При виде брусьев, колец он трясся, как осужденный на пытку. «Чемпион, чемпион!» — кричали ему ребята в этих пропахших потом и пылью физкультурных залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом (беззлобным, но оттого не менее обидным) они встретят его нелепый, позорный прыжок через «козла».

Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач тоже не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, но не пожал плечами, не посмотрел на мальчика как на симулянта, а спокойно сказал:

— Отклонения в обмене веществ, похоже, генетические. Пока неизлечимо. Не огорчайтесь. Футболистом вам не быть, а в остальном... В пещерные времена вас скушал бы первый же тигр, но какое это имеет значение сейчас? Так что не обращайтесь внимания.

Кошмар рассеялся навсегда.

Вот чем все это кончилось — печально гаснущей равниной Марса, сумасшедшим бегом от самого себя...

Севергин заставил себя лечь, устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые движения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость.

Он сам во всем виноват, обвинять некого. Он сам бросил судьбе вызов, отправившись на Марс. Не так, разу-

меется, как в детстве, когда, ревя от злости, он вновь и вновь хватался за штангу, чтобы или поднять ее, или свалиться замертво. О, о таких схватках прославленный доктор микробиологии и думать забыл! Он уже давно жил в мире, где все решал ум, а физические достоинства не имели значения. Там он был на месте, более чем на месте. Не удивительно, что именно его, а не другого попросили срочно прибыть на Марс, чтобы разобраться в тревожном поведении кристаллобактерий, необъяснимо преодолевших фильтры водоочисток. Плевать всем было на то, может он или нет подтянуться на турнике: Марсу требовался его ум, а не мускулы.

Он мог бы отказаться, но не сделал этого. Избранником прийти на Марс, приблизиться к тому переднему краю, где человек ведет суровую борьбу за выживание, — мог ли он отказаться от столь блистательного реванша за унижения детства? Чтобы почувствовать себя таким избранником, надо было закрыть глаза лишь на ничтожный пустяк. А именно: никто — ни люди, ни обстоятельства — заведомо не требовал от него на Марсе рукопашного боя с природой. Там, как и на Земле, он оставался пассажиром корабля, именуемого цивилизацией, и от штормов его отделяли надежные иллюминаторы.

Возможность аварии исключалась. Разве капитан, беря пассажиров на борт, справляется об их умении плавать?

...Он летел из Сезоастриса в Титанус, сидя в мягком кресле крохотной автоматической ракеты, которая сама взлетает, сама садится и вообще все делает сама. Он сидел в кресле и читал. Очнулся он, лишь когда увидел приближающиеся снизу скалы. Он не заметил и теперь никогда не узнает, что испортилось в механизме. Но и падая, ракета позаботилась о нем: катапульта вышвыр-

нула его, прежде чем он успел сообразить, что произошло.

Одного не смогла сделать автоматика — уберечь его при парашютировании от удара о скалу (но ведь и самая заботливая мать не всегда оберегает ребенка от ушиба!). К счастью, удар пришелся не по Севергину, а по сумке с аварийным запасом. Рация превратилась в винегрет, посеребренный осколками кофейного термоса, но все остальное уцелело, в том числе и драгоценная план-карта, позволяющая точно определяться в любой местности.

Он определился, как только пришел в себя. Все было и очень хорошо, и очень плохо. Он находился в южной части хребта Митчелла, в стороне от трассы, которой следовала ракета, и вне зоны радарного наблюдения. Это означало, что место его падения Сезоастрису не удалось засечь даже приблизительно. Зато он был всего в ста шестидесяти километрах от поселка геологов. Баллоны скафандра и аварийного запаса обеспечивали тридцать шесть часов дыхания. Таблетки, снимающие сон, тоже были. Гористая местность кончалась километрах в семи от места падения, и горы тут были не слишком крутыми, не слишком высокими — вполне туристские горы. Прекрасно! Часов за шесть он пересечет горы, дальше начнется равнина, где вполне можно держать среднюю скорость равной пяти с половиной километрам в час. Он успеет дойти. Ведь идти — не бежать, тут его организм не подведет.

В какой-то момент он даже обрадовался: он на самом деле возьмет реванш!

Он рассеял вокруг места аварии приметную сверху флюоресцирующую краску и бодро двинулся в дорогу.

Он забыл, что даже в невысоких горах, если не хочешь удлинить свой путь впятеро, надо кое-где карабкаться отвесно вверх, перепрыгивать через трещины, под-

тягиваться на руках, то есть делать все то, что делать он был не способен.

На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов, тогда как любой парень со значком туриста потратил бы на его месте от силы шесть-восемь!

Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет.

...Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Севергин встал. Его вытянувшаяся тень скакнула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разыгравшиеся эмоции.

Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но в вышине неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто-то трогал их, беря аккорды цветомузыки. Золотистые, лиловые, красные — тона были нежные, легкие, высокие, они плыли в фиолетовом хрустале неба лепестками прозрачных цветов.

Севергин поднял голову и шел так, улыбаясь чему-то, поражаясь тому, что улыбается, и желая себе вечно быть таким, как сейчас.

Не надо спорить с природой — он только теперь это понял. Не надо требовать от нее уюта диванных подушек, надо брать то, что она дает, и любить каждое мгновение своего существования, ибо вдали у каждого все равно смерть. Так стоит ли ненавидеть жизнь за то, что она не вполне соответствует желаниям? Камень падает, река течет, человек ищет счастья, все совершается по своим законам, их надо понять, а спорить — к чему?

Севергин незаметно для себя перешел тот рубеж, который отделяет отрезок жизни, не омраченный близящейся смертью, от последней прямой, когда точно известен час ее завершения. Разные люди пересекают этот рубеж по-разному, но все они открывают за ним что-то новое для себя — страшное, великое, в чем есть и ужас и примирение.

Небо почернело, но темнота длилась недолго: поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охватывавший колено при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Севергин усилил электрообогрев.

Равнина стала плоской, как разостланная скатерть, но кое-где ее узкими мазками туши пятнали тени, отброшенные редкими стрелками сафара — унылой порослью марсианской травы. Неожиданно Севергин заметил, что старается не наступать на них, и удивился, откуда взялся у него этот бережный инстинкт.

Потом он вспомнил откуда. Как-то в хмурый и ветренный апрельский день он шел дубовым лесом. Деревья стояли по-зимнему нагие, корявые, землю устилали ломкие листья, и под ногами хрустели желуди, такие же коричнево-серые, как и листья. Приятно было слышать, как хрустят под ногами желуди. В этом звуке отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела. Так шел он, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая-то бледно-зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся: то оказался росток желудя, уже вцепившийся в холодную землю. И он увидел, что вокруг много таких звездочек, что они везде и что шагал-то он по ним. На цыпочках он поспешил покинуть лес.

Как тогда, Севергин остановился и нагнулся перед стрелкой сафара. Почему-то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другое.

Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, ко-со воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочней стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь, Севергин это знал. Но сафар так же ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была угото-

вана весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы.

С этим тоже следовало смириться.

Внезапно от стебля сафара пролегла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Выходил Фобос.

Севергин выпрямился. Его окружала ярко освещенная равнина. Узкие, сведенные тени лежали на ней черной клинописью. Севергин, осеребренный лунами, возвышался над темными письменами как памятник.

И все-таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью! Часто предметное стекло напоминало поле битвы — так густо усеивали его трупы бактерий, убитых ядами, ультрафиолетом, радиацией. Ни проблеска движения, вот как сейчас. Но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевывало для жизни новую сферу там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки.

Так было всегда. Никакая ошибка в природе не была ошибкой. Зародившись в воде, земная жизнь овладела сушей, вышла в воздух, спустилась в глубины пластов. Кто знает, может быть, через сотни миллионов лет и без человека ее давление выбросило бы семена новых всходов в космос, перенесло их на другие планеты? Почему бы и нет? Суша для обитателей моря тоже была гибельной пустыней. Но волна за волной, влекомые обстоятельствами, они шли на приступ, и на триллионы погибших всегда приходились одиночки, не такие, как все, которые смогли уцелеть в новой среде.

Единственный случай, когда их существование оправ-



дывалось! Ибо в привычных условиях эти же десантники скорей других обрекались на гибель. Когда стая птиц попадает в бурю, то смерть выбирает жертвы не слепо. Выверенный миллионами лет эволюции стандарт может противостоять буре именно потому, что в его отшлифовке участвовали тысячи бурь прошлого. Но горе тем, кто нестандартен!

Он, Севергин, был нестандартен, и потому горы победили его, а не он их. Техника позволила людям почти избежать потерь при движении к другим мирам. Если бы она всегда была безотказной, потерь не было бы вовсе. Но, увы, щит не был и не мог быть абсолютным...

Севергин внезапно понял, почему из всего, о чем он мог думать в свои последние часы, он думал об этом. Бессознательно, невольно он искал утешения. Разум не может смириться ни с бессмысленностью жизни, ни с бессмысленностью смерти. Так он устроен. Как будто от этого легче!

Безбрежная тишина стояла вокруг него. Луны сблизились и смотрели с высоты пристально, как два глаза. Всякое движение в этом замершем мире казалось святотатством. Севергин ускорил шаг.

Теперь он не сделает этого. В ту минуту, когда начнется удушье, он не вынет пистолет и не застрелится. Живым не все равно, как он погибнет. Что-то больно ударит по друзьям, если его найдут с дыркой в сердце. Пример малодушия? Не то... Просто человек обязан бороться до последнего вздоха. Как борется трава, как борются бактерии. Мера стойкости человечества зависит от меры стойкости каждого, вот и все.

Теперь он шел и думал о друзьях, о тех, кого любил, о том, что сделал и чего не сделал. Многое из того, что раньше казалось важным, стало теперь совсем неважным. Слава, власть, успех. Они не опора человеку, когда

приходит смерть. До нее и после человек жив тем хорошим, что сделал он для людей. Лишь дружба, благодарность и любовь могут поддержать и успокоить, когда наступает время подвести итог. Особенно любовь.

Сейчас он стал бы жить совсем-совсем иначе, если бы это было возможно!

Поздно.

Фобос закатился. Подул ветерок, уже предрассветный. Значит, он дождется утра. Почему-то ему хотелось, чтобы это случилось при свете солнца.

Но тут в регуляторе давления воздуха трижды щелкнуло.

Он похолодел. Сигнал, предупреждающий, что кислород иссякнет через десять минут. Конец.

Немеющие ноги сами усадили его на побелевший от инея камень. Небо у горизонта чуть поблекло, но до восхода солнца было еще далеко.

Может быть, выключить обогрев и замерзнуть? Говорят, что это походит на сон.

И вдруг ему невероятно, по-звериному захотелось жить! Он не успел, не доделал, не исправил, не долюбил — он не мог исчезнуть просто так!

Он вскочил. И задохнулся. Словно ко рту прижали маску! И все же пошел. Легкие вздымались и опадали — чаще, чаще, — их сводила боль, горло сжалось в хрипе, он упал на колени и все равно пополз. И когда сознание потемнело, а тело забилося в конвульсиях, он рванул шлем и глотнул марсианского ветра, как тонущий глотает воду, потому что не глотнуть ее он не может.

В легкие прошел холодок, боль последней вспышкой озарила мозг, и все погасло.

Погасло, чтобы снова замерцать. Он очнулся от судорог, выворачивающих легкие, и увидел перед глазами что-то красное, колышущееся.

С невероятным усилием он поднял голову. Было уже светло. И он полз! И он дышал марсианским воздухом! Его организм был не таким, как все: он выжил!

Он даже не осознал этого. Он продолжал ползти. Он полз яростно, упорно, повинаясь уже не разуму, а инстинкту, все вперед и вперед, туда, где были люди.



## ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН

2013 год на календаре, но здесь мало что изменилось: перед экзаменом противно холодеют ладони, в мыслях паника, сердце трепещет, и у времени вкус дряблой резины.

Кто-то нервно вышагивает по коридору; кто-то, бессмысленно глядя в пространство, твердит доказательства формулы Эверсона; кто-то в панике листает учебник; девушка в лазоревом свитере приложила ко лбу зер-



незаметно шмыгнуть мимо датчиков, которые следят, не принял ли кто-нибудь стимуляторов умственной деятельности. Это строгойше запрещено, но всегда найдутся ловкачи, уверенные, что им удастся обмануть автомат каким-нибудь новым сочетанием препаратов. Тщетная попытка! Сконфуженно улыбаясь, двое опознанных поворачивают вспять, на ходу глотая таблетки анти-стимуляторов. Они наказаны вдвойне: во-первых, они смогут присоединиться к остальным лишь через четверть часа, когда лекарства взаимно нейтрализуют друг друга, а во-вторых, сообразительность после такой операции заметно тускнеет. Многие даже сочувствуют этим незадачливым потомкам вымершего племени шпаргалочников.

Павлов сел за столик у окна. И, как это обычно бывает, вдруг почувствовал, что его голова ну совершенно девственно пуста!

Он постарался успокоиться. В конце концов это же не специальный экзамен. В конце концов это последний экзамен. Наконец, он готовился к нему целых три дня... И он слишком любит Галю, чтобы огорчить ее неудачей. Да и чем он хуже других?

Он придвинул к себе переносный пульт экзаменационной машины и решительно нажал пусковую клавишу.

Из прорези выскользнул узкий листок с вопросами. В первое мгновение строчки так запрыгали перед глазами, что, просмотрев билет, он ничего не понял, заторопился, с лихорадочной поспешностью перечитал билет, какую-то секунду тупо глядел на него, потом в груди разлилась широкая и теплая волна успокоения.

Первый вопрос не таил в себе никаких каверз, хотя и требовал времени для ответа: «Негативные стороны явления проекции».

Павлов придвинул листок бумаги. Волнение прошло,

он писал размашисто и быстро. «Когда человек сталкивается с нежелательной, неприемлемой для него информацией, то в нем с той или иной эффективностью срабатывают механизмы бессознательного подавления и вытеснения такой информации. Проекция принадлежит к их числу. Это неосознанная попытка избавиться от навязчивой тенденции путем переноса ее на другое лицо, группу лиц. К примеру, такое хорошо известное в прошлом явление, как ханжество, во многом объясняется именно проекцией. Человеку с ненормально развитыми половыми эмоциями кажется, что окружающие только и думают о сексе. Собственное аномальное восприятие этой сферы человеческой жизни он бессознательно приписывает другим людям. Поэтому их поведение кажется ему неправильным, грязным, а сам он предстает в собственных глазах поборником нравственной чистоты. Этот неосознанный, не контролируемый разумом психический процесс направлен на сохранение самоуважения. Если бы приведенный нами в пример человек осознал реальность, то его самоуважение было бы поколеблено. Подобное самосохранение своего «я» покупается, однако, дорогой ценой. Человек перестает быть полноценной личностью, в нем приглушены функции разума, счастье для него становится недостижимым. В определенных условиях данный человек может представлять опасность для общества.

Меры самоконтроля и способы лечения...»

Исписав лист, Павлов откинулся на спинку стула. Кажется, все правильно. Конечно, не мешало бы привести еще парочку примеров, но ничего, на зачет это существенно не повлияет...

Поколебавшись секунду, он сунул исписанный лист в прорезь пульта. Автомат тотчас считал ответ, и на пульте зажглась желтая лампочка: «удовлетворительно».

Второй вопрос был и вовсе пустяковым: «Формула самоуважения». Не колеблясь, Павлов написал:

$$\text{Самоуважение} = \frac{\text{Успех}^*}{\text{Притязания}}.$$

И вдруг вспыхнула красная лампочка! С тупым изумлением Павлов следил за сигналом. Неудача... неудача... неудача...

А, черт, он же забыл ввести коэффициент общественного влияния! На радостях Павлов подмигнул машине и не торопясь ввел поправку. На, заткнись!

Враждебный красный цвет сменился зеленым. И все вокруг стало приветливым, оживленным, Павлов услышал сопение, шелест бумаги, нервное шарканье ног. Экзаменационная, оказывается, была наполнена звуками!

Но тут Павлов спохватился. Оставалось еще целых два вопроса. О последнем он предпочитал пока не думать — слишком страшно тот выглядел. Предшествовавший ему тоже был не из легких: «Математическое выражение обратной связи «разум — инстинкт», но Павлов был уверен, что справится.

Он нехотя взялся за ручку, написал первую строчку уравнения Филлиповского, и окружающий мир снова онемел, как если бы из экзаменационной незаметно откачали воздух.

Мало-помалу, однако, им овладела неуверенность. Он что-то не то делал с интегралами. Это было скорей интуитивное, чем осознанное, ощущение. Связь получилась неравновесной. Она и должна была быть неравно-

---

\* До этого момента ответы Павлова соответствуют данным современной науки. Далее они сочетаются с фантазией автора.



весной. Но в такой ли степени? Павлов заколебался. Он не мог вспомнить, как все это выглядит в учебнике.

Он вытер испарину и стал проверять написанное. И чем дольше он проверял, тем больше запутывался. Он уже сомневался в самых простых вещах. Ему показалась подозрительной простейшая математическая операция с круговыми интегралами, и еще минут пять он потратил на доказательство тождества, с которым шутя справился бы любой школьник.

А потом, внезапно озлившись, он скомкал исписанное, быстро повторил расчет и, не проверяя, сунул машине.

Зажглась красная лампочка

Только теперь Павлов почувствовал, как он устал. На последний вопрос он тоже не сумеет ответить. Это провал. Ну и плевать. Не все ли равно?

Он тоскливо огляделся. Склоненные головы, склоненные спины, равнодушные затылки. Одинокий среди одиноких.

Галя, конечно, будет утешать. Напомнит о переэкзаменовке, о том, что они еще молоды и могут подождать... Разумеется, могут. А гадкое чувство вины перед ней все равно останется. И сама она украдкой всплакнет ночью, это уж точно.

Проклятая психология! Предыдущие поколения как-то обходились без нее, без всех этих спецэкзаменов, и ничего — жили, работали, растили детей... Да, да, обходились, и вообще — долой образование. Пусть процветает невежество. Утешил себя, называется...

А ведь Галя успешно выдержала те же самые экзамены.

В ярости он перечитал четвертый вопрос: «Даны матрицы семи разнотипных поступков. Определить уровень конформизма данной личности. Возраст — 17 лет».

Первый шаг не вызывал сомнений: компьютер под ру-

кой, надо закодировать матрицы и просчитать степень взаимосвязи поступков. Ввести взятый из справочника средний коэффициент конформизма, характерный для этого возраста. Семнадцать лет... Славная пора, когда жажда ярких дел и протест вскипают на костре нетерпения. Тут можно воспользоваться преобразованием Крочека. Странно... Вопреки ожиданиям пока все идет гладко. Остается разложить полученный ряд на составляющие. Одной из них и будет конформизм — приспособляемость к некоему признанному или требуемому стандарту. Попробуй-ка скажи любому юноше, что в нем силен конформизм. Ха! Безопасней дернуть за усы тигра. А кто более всего подвержен влиянию моды? Кого легче всего сплотить в пылающую единодушием толпу? Его...

Мельком Павлов взглянул на часы. И заторопился. Скоро конец. Он даже обрадовался. Стрелки сомкнутся на двенадцати, и — решил не решил — от тебя уже ничего не будет зависеть. Сдал или не сдал, но ты уже свободен от ответственности, от необходимости бороться, от обязанности напрягать свой мозг.

Свобода поражения.

Павлов поймал на себе чей-то взгляд. Повернул голову. Юноша, два часа назад разглагольствовавший об экзаменах, сочувственно улыбнулся ему: «Что, мол, засел?» Сам он уже, видимо, справился с заданием и теперь отдыхал, скрестив руки и снисходительно наблюдая за остальными.

Павлов метнул на него свирепый взгляд и стиснул ручку так, что побелели костяшки пальцев.

Перо рванулось, как бегун на стометровке. Не глядя, он сунул в автомат листок с ответом, фыркнул, увидев желтый сигнал, и с бешенством, его самого поразившим, накинулся на злополучный третий вопрос, чувствуя, как в висках болезненно стучит кровь.

На одном дыхании, словно осуждая себя за малодушие, он переделал расчет и с такой поспешностью сунул его машине, словно хотел избавиться от позора.

Собственно, так оно и было.

Сигнал не успел зажечься, так как время уже на долю секунды перевалило за полдень. Вся огромная аудитория разом вздохнула, задвигалась, заговорила. Павлов был вымотан до опустошения. Безучастно он следил за табло, на котором начали мелькать фамилии тех, кто выдержал экзамен. В зале поднялся шум.

Неуклюже, пытаясь не обращать на себя внимания, Павлов двинулся к выходу. Он старался ничего не видеть и не слышать, — ни радостных возгласов, ни перешептываний, ни поцелуев, которыми обменивались девушки по мере того, как темное пространство табло заполняли все новые и новые фамилии. Его это больше не касалось. Даже если он и справился с третьим заданием, автомат, судя по всему, не успел учесть нового решения, а расклад предыдущих не сулил особых надежд: неотвеченный вопрос мог быть возмещен двумя «зелеными», а у него их не было.

Он прошелся по коридору, постоял у окна, мысленно поговорил сам с собой и вернулся в аудиторию, лишь когда она совсем опустела. Он не хотел, не мог видеть свидетелей своего провала, который — он наконец осознал это — значил для него гораздо больше, чем заурядная неприятность.

Фамилия «Павлов» бросилась ему в глаза, едва он вошел. Еще секунду он смотрел на табло, и день в окнах вдруг посветлел, и птички запели, и голова стала легкой до невесомости.

Автомат успел! Успел, успел! И ответ был верен! Безудержная хмельная улыбка раздвинула лицо Павлова. Выдержал, все-таки выдержал...

Так с этой хмельной улыбкой он и прошел в комнату комиссии. Ничто, однако, не дрогнуло в глазах председателя при виде его шалого лица: он видел и не такие.

— Рад за вас, молодой человек, — сказал он, торжественно приподнимаясь и пожимая Павлову руку. — Вы сдали обязательные экзамены и получаете право иметь и воспитывать ребенка. Иметь и воспитывать! — голос председателя возвысился. — Общество разрешает вам это, ибо считает вас достаточно зрелым и подготовленным к самому трудному, самому ответственному делу, какие только есть на земле. Но вы доказали лишь подготовленность к своим будущим обязанностям, а доказать умение вам еще предстоит. Теперь слишком многое зависит от того, все ли наши дети станут настоящими людьми...

— Понимаю, — прошептал Павлов. — Я постараюсь... Спасибо.

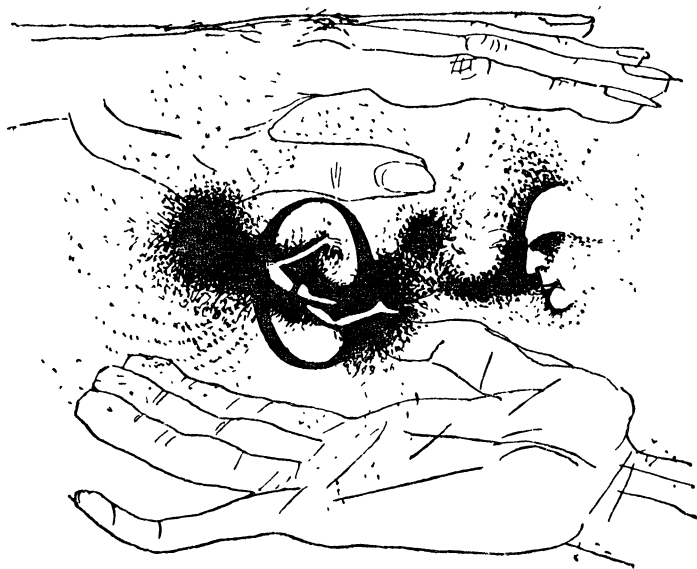
Из окон все еще лился необычайно яркий, праздничный свет.



## ДОРОГА БЕЗ ВОЗВРАТА

— Это уже чересчур, — сказал Кайзер, непроизвольно пятясь.

Розец держал в руке кусок полупрозрачного гипса. От него сами собой быстро-быстро отлетали песчинки, словно кто-то долбил его кончиком невидимого ножа. Затем — опять же без внешних признаков вмешательства извне — в гипсе возникла вмятина, и он на глазах у потрясенных путешественников превратился в чашу.



Осоргин машинально щелкнул фотоаппаратом. Роэлец, все так же застыв в неподвижной позе, перевел взгляд на ближайшее дерево. Оно немедленно согнулось в дугу, самая толстая ветка повисла над новоявленным сосудом, и из нее ударила струйка прозрачного сока.

Роэлец протянул наполненную чашу Кайзеру.

— Уверяю вас, это вкусно, — сказал Блинк.

— Какого черта, — прошептал Кайзер. Несмотря на жару, его била дрожь. — Тут не во вкусе дело...

— Надо выпить хотя бы из вежливости, — вмешался Осоргин. — Тем более Блинк гарантирует...

— При чем тут гарантии! — досадливо передернул плечами Блинк. — Важно сохранить достоинство. Впрочем, и это чепуха... Можете не пить, роэлец не обидится.

— Нет, я выпью, — Кайзер осушил сосуд.

Все еще склоненное дерево тотчас разогнулось, и его вершина маятником заходила в ослепительной синеве неба. Лицо Кайзера раздвинула блаженная улыбка.

— Это действительно вкусно... Это потрясающе вкусно! Но всего этого просто не может быть. Роэлец изумительно владеет внушением, вот и все.

— Да? — Блинк сухо рассмеялся и щелкнул пальцами. — Хотите, я попрошу его тем же способом отодрать у ваших сапог подметку? Быть может, ходьба босиком по сельве разубедит вас.

Кайзер насупился.

«Опять этот спор!» — с досадой подумал Осоргин. Он отошел и сел на камень. Слишком жарко. И слишком удивительно. На голой и пыльной земле сидит голый роэлец и запросто творит чудеса. И ничего ему не надо, так, по крайней мере, уверяет Блинк. Вот и разберись, что тут к чему.

— Не станете же вы утверждать, — ядовито говорил тем временем Кайзер, — что роэлец воздействует на окружающее силой мысли?

— Слушайте, Кайзер, мы тоже воздействуем на окружающее силой мысли. Это вас почему-то не удивляет.

— Вы неправильно меня поняли! Разумеется, человек сначала задумывает что-то, а потом осуществляет задуманное. Но руками. Или машинами.

— Дорогой Кайзер, если вы разрешите мне погрузить вас в гипнотический сон, то, не притрагиваясь к вам, всего лишь несколькими словами я вызову на вашем теле ожог. То есть произведу вполне очевидное для вас и, к сожалению, болезненное прямое воздействие.

Голоса споривших жужжали, как осенние мухи. Осоргин встал.

— О чем вы спорите? О чем? Это бесцельно. Органы чувств можно обмануть фокусом. А еще есть такое явление — гипноз. Необходимо объективное свидетельство. Но пленки мы сможем проявить только в городе. К чему же тогда теоретизирования?

— К тому, — почти воскликнул Блинк, — что, пока мы доберемся до города и вернемся обратно, роэлец исчезнет! С ним вместе скроется тайна, кто знает, еще на сколько лет? Я верю, что роэлец нас не обманывает, а Кайзер не верит. Но от степени доверия к моему мнению зависит, останемся ли мы здесь или тронемся дальше.

— Мы имеем план и задачи, — твердо сказал Кайзер. — Долг требует от нас...

— Короче говоря, — перебил Блинк, — ваш голос, Осоргин, решающий.

Осоргин ничего не ответил. Прохлады не было даже в тени, мокрая рубашка прилипла к телу, а вот роэлец сидит на солнцепеке, и на его коже ни бисеринки пота. Положим, ничего удивительного, что туземец гораздо лучше приспособлен к местному климату. И все-таки есть в роэльце что-то необычное. Когда человек сидит неподвижно, то все равно в этой неподвижности есть жизнь. И в неподвижности дерева тоже. И в неподвижности реки. Роэлец же ничем не отличался от каменной глыбы. Можно было подумать, что он не дышит. Но хуже всего — глаза. Так могли бы блестеть листочки слюды. И непонятно, куда устремлен этот невидящий, застывший взгляд и устремлен ли он вообще куда-нибудь.

Луч солнца проколол листву. Осоргин, почувствовав на щеке ожог, невольно мотнул головой. Мысли окончательно спутались.



Нетерпение придало узкому лицу Блинка страстность художника, замороженного шедевром. Он нервно переступал с ноги на ногу, как будто ему жгло пятки. Кайзер неторопливо курил сигару, спокойный, уверенный в своей правоте. Позади них сидел ко всему равнодушный роэлец.

— Вот что, друзья, — Осоргин облизал губы, и они тотчас пересохли снова. — Тут надо взвесить. Сейчас мы слишком под впечатлением... — Осоргин запнулся... — увиденного. Отложим до вечера.

— Правильное решение, — кивнул Кайзер. — Надо обсудить всесторонне.

— Трусость, — зло сказал Блинк. — Трусость и уязвленная гордость. Мы заранее отбрасываем все, что выше нашего понимания. Так спокойней.

— Умоляю вас, хватит! — взмолился Осоргин. — Вечером, когда спадет жара... Можете тогда спорить хоть до упаду.

«Тропический наркоз, — устало подумал он. — Может ли такое быть? Здесь все слишком фантаσμαгорично. Это раскаленное солнце, эта неистовая, сумасшедшая зелень, эти ночи, лиловые от беспрестанного мигания молний, эта рискованнейшая переправа через Коррирочу... Необычное стало будничным, и я не могу отделаться от впечатления, что здесь все возможно. Даже роэлец с его нечеловеческим искусством. Так легко ошибиться. Подпасть под влияние... Неправильно оценить... В конце концов даже хронометр подвижен воздействию среды. А мозг все-таки не хронометр...»

В десятом часу, когда вечерний воздух чуточку поспежел, они по молчаливому уговору собрались у костра.

Их отряд уже три месяца был в сельве, исследуя, может быть, в последний раз этот затерянный клочок Земли, так как вскоре здесь должно было разлиться

Амазонское море. Этот глухой уголок исследовался не только в последний, но и в первый раз — до них здесь не было экспедиций.

Кайзер, Блинк, Осоргин скорей всего так никогда бы и не столкнулись с роэльцем, если бы не опасение, что какое-нибудь малочисленное племя не знает о предстоящем затоплении. Это было, конечно, маловероятно, так как совершенно изолированных племен не существует даже в сельве и известия распространялись здесь не хуже, чем слухи в цивилизованных странах, но игнорировать такую возможность все же не следовало.

Роэльца они нашли с помощью индейцев-проводников, которые, выследив его местонахождение, сами, однако, не рискнули к нему приблизиться. Где находились соплеменники роэльца, никто не знал. На переговоры отправился Блинк, который отлично владел местными наречиями, чего нельзя было сказать о других участниках международной экспедиции.

Блинк встретился с роэльцем — и потерял покой. Он только о нем и говорил, только им и занимался в ущерб всем остальным обязанностям. Это не могло не вызвать конфликта.

— Считаю наш симпозиум у костра открытым, — сказал Осоргин и, заметив усмешку Кайзера, добавил: — Именно так — симпозиум. Для начала Блинк изложит свои соображения. Если угодно — сделает доклад. Вас, Кайзер, я попрошу не перебивать.

Блинк вскинул голову.

— Благодарю, — он поклонился. — Я буду краток. Науке о племени роэльцев до сих пор ничего не было известно. Это объясняется как малочисленностью племени, так и его изолированностью. Случайные исследователи, побывавшие в окрестностях изучаемого нами района, подобно Кайзеру, не склонны были верить фантастичес-

ким слухам, хотя Сетонию, насколько я знаю, пытался их проверить. Но ему не повезло. Роэльцев он не нашел и объявил, что само это племя — миф.

Мы убедились, что не миф. Уже по одной этой причине имело бы смысл задержаться. Предвижу возражения Кайзера: мы не этнографы. Но до прибытия этнографов здесь успеет возникнуть море; где потом искать роэльцев?

Однако дело даже не в этом. Сегодня я попросил роэльца показать вам, на что он способен. Вы были ошеломлены, но тотчас убедили себя, что это всего лишь ловкий трюк. Ладно, допустим, трюк. Племя фокусников. Или гипнотизеров. Вам и это неинтересно?

Повторяю, однако, что трюком здесь и не пахнет. Уже три дня я изучаю роэльца, и чем дольше изучаю, тем меньше понимаю. Они не охотятся: дичь сама прибегает к ним и...

— И сама себя свежует, — вставил Кайзер.

— К порядку! — Осоргин постучал палкой по голове, выбив при этом сноп искр.

—... И я мог бы долго перечислять все чудеса (или, по мнению Кайзера, «фокусы»), которыми они владеют, — закончил Блинк. — Но есть вещи, на мой взгляд, более важные. Необычные способности роэльцев — не дар природы. Это искусство, которому учатся и которое тесно связано с весьма фантастическим, но странным миропониманием.

Что, кроме предвзятости, мешает вам принять мою гипотезу? Никакие законы природы не пересматриваются; колеблется лишь наша самоуверенность. Ну и черт с ней! Разум — это наиболее сложно организованная форма материи. Мы не мним себя всеведущими, когда речь идет о таком простом явлении, как атомное ядро. Зато мы «точно знаем», на что разум способен,

а на что нет. Так же «точно» ученые прошлого века знали, что в веществе не заключена никакая другая энергия, кроме химической. До каких же пор мы будем повторять одну и ту же ошибку?!

— Спокойней, Блинк, спокойней, — сказал Осоргин.

— Я говорю спокойно. Все возражения Кайзера сводятся к одному: человечеству неизвестен способ прямого воздействия мысли на окружающий мир. А раз неизвестен, то он не существует и существовать не может. Но это не доказательство.

— Вы кончили? — хмуро спросил Кайзер. Он сидел, опустив подбородок на сцепленные пальцы и уперев локти в колени. Было что-то несокрушимое в этой его позе. — Кончили? Теперь скажу я. Я не спорю, что на свете существуют племена, обладающие искусством знахарства и гипноза. Это не ново, равно как и йоги. Но! Обо всем этом наука знает давно, и легенды, одна невероятней другой, известны науке тоже. Вопрос: если эти легенды справедливы пусть даже отчасти, почему мировая наука не смогла извлечь из них ничего принципиально нового? Подчеркиваю: принципиально нового.

Ответ можно дать только один. Мировая наука потому не смогла извлечь ничего принципиально нового и ценного, что ничего такого там не было и нет. Как нет ничего важного для науки в искусстве фокусников, например. Я могу оказаться догматиком, Осоргин, но вся мировая наука... О, это невозможно! Она искала долго и упорно, однако нельзя найти того, что не существует, и мой довод доказывает это.

Позволю себе и такое соображение. Если действительно есть люди, владеющие недоступным науке могуществом, то почему они остались париями? Ими не создано ничего, они наги и босы, здесь есть вопиющее логическое противоречие, на которое я обращаю ваше

внимание. Мои возражения не исчерпаны, но я сказал достаточно. Предлагаю вернуться к реальным делам.

Кайзер шевельнулся, и по его покрасневшемуся лицу пробежали гени. Блинк молчал.

— Скажите, — обернулся к нему Осоргин. — Этот родец... он всегда молчит?

— Нет, — ответил Блинк нехотя. — Я разговаривал с ним.

— Он что-нибудь объяснял?

— Да. Но я не могу понять его объяснений. Он сказал, что и нельзя понять без...

— Обманщики не любят делиться секретами, — уронил Кайзер.

Блинк горько усмехнулся.

— Он готов объяснить все... этот обманщик. Но для этого необходимо еще и понимание. «Вы младенцы в нашем искусстве, — он так примерно сказал. — Разве своей науке вы научились за день?» Он прав. Я уже взял у него несколько уроков. Но этого мало.

— Да? — сказал Осоргин. — Взяли несколько уроков? Как же это выглядело?

— Это выглядело странно. Сначала я должен был думать о каком-нибудь предмете. Дереве, например. Только о нем. О том, какой толстый у него ствол, как темно и сыро его корням, как трепещет его листва...

— Детский сад, — буркнул Кайзер.

— А потом что? — спросил Осоргин.

— Я должен был стать деревом. Мне надо было отождествить себя с его телом, я должен был почувствовать, как в дереве идут соки, как жар солнечных лучей опалает мои, то есть дерева, листья, как трудно мне вытягивать из земли воду, как ветер гнет мои ветки... Знаете, это очень своеобразное ощущение. Ведь мы никогда не пытались стать чем-то. Под конец я на какое-

то мгновение действительно почувствовал себя деревом. Во мне даже что-то заболело, когда я представил, как жуки-точильщики вгрызаются в ствол.

— У деревьев отсутствуют нервы, — сказал Кайзер.

— Неверно! Какая-то нервная система у них есть, это доказано. И я это почувствовал на себе. Повторяю. Я испытал боль дерева. Вы скажете, что это обычное самовнушение. Разумеется, но должен сознаться, что такой боли я еще никогда не ощущал...

— Ладно, — перебил Осоргин. — Детали вы расскажете потом. Что было дальше?

— Дальше... Только не смейтесь! Мне надо было отождествить себя со звуком. Со звуком «о». Выключившись из действительности...

— Каким способом?

— Я описал его вам. Так вот: выключившись из действительности, я должен был монотонно повторять про себя «о, о, о, о!». Розлец предупредил, что этот урок опасен. Что человек иногда не в силах сам выйти из стадии отождествления со звуком и что поэтому урок должен обязательно идти в присутствии учителя. Услышав это, я чуть было не рассмеялся, но потом... — Голос Блинка дрогнул. — Потом я растворился в звуке, — прошептал он, и его зрачки сузились.

Худой, высокий, он сидел с побледневшим лицом, и блики огня то выхватывали за спиной смутную громаду леса, то прятали ее во мрак, как в засаду.

В костре треснула ветка. Кайзер скрипуче рассмеялся.

— У вас слишком богатое воображение, Блинк, — проговорил он, не вынимая трубки. — Как можно раствориться в звуке?

— Можно, — Блинк очнулся. — Можно утонуть. Исчезнуть. Раствориться. Я потерял свое тело. Я не чув-

ствовал его. Ничего не видел. Был только огромный, бесконечный, черный звук. Я не могу выразить это словами. Таким был последний урок.

— Теперь я окончательно убежден в шарлатанстве, — сказал Кайзер.

Осоргин покачал головой.

— Если долго повторять слово, любое слово, оно лишается смысла. И тогда сознание заволакивается пустотой. Блинк, мне все это не нравится.

— Да или нет? — воскликнул Блинк. — Да или нет?

— Подождите, Блинк. Попробуем рассуждать непредвзято. В толще веков погребен огонек истинных знаний, итог опыта тысяч поколений, результат бесчисленных и бессистемных проб, ошибок и открытий. Но он светит нам сквозь клубы плотного, часто удушливого дыма суеверий, фантастических обрядов, легенд и ритуалов. Как в случае с розльцем, возможно. Высокомерно пройти мимо, походя бросив несколько фраз о «дикости» и «суевериях»? Такой снобизм по отношению к опыту наших далеких предков — да, искаженному! да, внешне порой нам чуждому! — непростителен. Не мне объяснять вам, что уже получила наука, пробившаяся к огню сквозь клубы дыма. Великое множество рецептов, гимнастика йогов, их методы управления своим организмом, приемы самовнушения, того же гипноза... Блинк, вы, по-моему, чересчур увлечены гипотезой, которая — Кайзер абсолютно прав — противоречит всей совокупности наших знаний. Но право искать неотделимо от права ошибаться. Можно поступить так: мы с Кайзером продолжим маршрут, а вы останетесь изучать розльца. Такое предложение, я думаю, не вызовет спора. И все же...

— И все же? — насторожился Блинк.

— Я бы не советовал вам оставаться.

— Вы не верите или боитесь?

— И то и другое.

— Чего вы боитесь?

— Не знаю, Блинк, не знаю... Что-то во мне протестует против вашего намерения. Я не могу объяснить природу этого... страха. Да, да, страха и отвращения.

— Вы непоследовательны, — быстро сказал Блинк.

— Какие же мы, однако, дети, — укоризненно покачал головой Кайзер. — Это на нас действует темная ночь. Ночь и тайна, при свете дня все будет выглядеть проще. Насчет древней мудрости, которую надлежит изучать, я вполне согласен с Осоргиным. Но крайности! Я возражаю против крайностей. И повторяю, что прямые цели экспедиции важнее побочной экзотики. Однако мои доводы не подействовали. Пусть будет по-вашему. Но при чем здесь страх? Через месяц мы вернемся и, убежден, застанем Блинка злым и трезвым. Злым, потому что ему будет жаль потерянных сил, трезвым... Ну, это понятно.

Блинк просиял.

— Хорошо! — он вскочил, словно ему уже не терпелось бежать к розьлицу. — Спасибо, Осоргин, спасибо, Кайзер. Я не пожалею о потраченном времени. Пусть Кайзер тысячу раз прав. Но я, как ученый, обязан понять, что же это такое. Я должен пройти путь до конца. Если там, в самой глубине тайны, окажется пустота, что ж, я смирюсь с этим. Но я вернусь к вам с истиной.

— Вот это речь ученого, — Кайзер выколотил трубку и тоже встал. — Уже поздно. Спокойной ночи.

— Все-таки мне тревожно, — сказал Осоргин, когда Кайзер удалился и поскрипывание его сапог замерло



в темноте. Осоргин взял Блинка под локоть и почувствовал, как у того напряглись мышцы. — Ведь и вам не по себе, а?

Блинк высвободил руку и принужденно рассмеялся.

— Вы зря себя пугаете, Осоргин. Зачем роэльзу причинять мне вред? Люди в одиночку переплывают океан, а тут... Кайзер прав, надо лечь спать. До завтра.

Осоргин долго не мог уснуть в эту ночь. Его не покидало странное чувство. Хмурое небо севера, каменные громады городов, тишина рабочего кабинета, все прошлое, что было в его памяти, воспринималось сейчас как старый, поблекший от времени кинофильм, где действовал человек по имени Осоргин, тогда как настоящий, живой Осоргин лежал в гамаке, слушал протяжные, тревожные крики леса, видел поляну, меловой диск луны в прозрачном небе, белые, как сугроб, лагерные палатки, черные клинья теней, ощущал влажное тепло неподвижного воздуха, и тем не менее все это тоже было ненастоящим. Декорация какой-то чужой жизни, куда он случайно забрел и которая никогда не станет его жизнью, а растворится, исчезнет, едва он ее покинет.

Он приложил к уху часы. Они тикали, как всегда, и в этом тиканье было надежное постоянство, была неизменность, и это успокаивало. «Что за удивительная вещь — сознание, — беспокоило думал Осоргин. — На нас влияют шорохи, лунные блики, слова, звезды. Все влияет! Могучее, словно божество, слабое, как огонек свечи на ветру, изменчивое, подобно волне, упрямое, как травинка, твердое, будто алмаз, — это все оно, сознание. Понятное в своей каждодневности, загадочное в своей неисчерпаемой сложности и вечно задающее себе вопрос: «Что я такое?» Отождестви себя с деревом... Отождестви себя со звуком... Ведь это тоже попытка найти ответ! Были и другие попытки: растворись в вере... прими бога...

Попытки, вслед за которыми захлопывалась дверца западни: ответ найден на все вопросы бытия, нечего больше искать, не о чем думать — мысль умерла. Да, вот это меня и пугает. Опыт на себе. На своем сознании. Нет, не это! Ученые ставили, ставят и будут ставить опыты куда более опасные, чем эксперимент Блинка. Что же тогда? Страстная увлеченность Блинка! Опять не то... Без увлеченности, без одержимости не было бы науки... А мера где? Исчез критицизм, и увлеченность уже ослепление, одержимость — фанатизм... Блинк... Да что это я! Спать надо, вот что. Не думать, а спать, спать...»

...Ночью думается иначе, чем днем, и, когда Осоргин встал с рассветом, ночные мысли показались ему преувеличенными и неуместными. Утро было насыщено деловыми хлопотами, перед походом надо было позаботиться о тысячах мелочей, так что прощание скомкалось. Блинк долго махал им вслед, и, в последний раз обернувшись, Осоргин лишь ободряюще кивнул ему перед тем, как скрыться в сумраке леса.

Вышли они из него обратно через несколько недель. За это время было столько пережито и сделано, что новые впечатления, как это всегда бывает, не то чтобы совсем заслонили воспоминания о розльце, но лишили их былой остроты. Однако чем более они приближались к старому лагерю, тем сильнее овладевало ими нетерпение поскорей увидеть Блинка, и последнюю милю они как могли ускоряли шаг, радуясь предстоящей встрече, горя желанием рассказать за чашкой кофе о своих приключениях и услышать о чужих, которые уже заранее казались им более бедными, чем их собственные.

Наконец сумрачный свод леса, в чьей зеленой вышине гас даже шум ветра, был прорван потоками света, и полуослепшие путешественники увидели пышущую жаром поляну с одинокой палаткой возле кустов.

— Э-гей! — дружно закричали они. — Э-ге-гей! Блинк-роэлец, появись!

Поляна ответила безмолвием.

— Блинк не стал лежебокой, — заметил Осоргин.

Они с наслаждением скинули рюкзаки, дали указание носильщикам разбить лагерь и лишь потом заглянули в палатку.

Едва они откинули полог, как в ноздри им ударил кислый запах плесени. Вещи были свалены кое-как, разбросаны: их покрывал липкий зеленоватый налет. Там, где вещей не было, днище палатки вздувалось пузырем. Из крохотной прорехи уже торчал тонкий и бледный стебель.

Шурша, полог выскользнул из рук Осоргина. С подавленным вскриком Кайзер метнулся назад.

— Винтовки! Скорей!

Глупо было спешить, глупо было хвататься за оружие, но Осоргин повиновался, как во сне, потому что действие — любое действие — было в эту минуту спасением.

Крикнув индейцам, чтобы те прочесали опушку леса, Кайзер и Осоргин, не сговариваясь, влекомые скорей инстинктом, чем разумом, схватили винтовки и бросились бегом к тому месту, где в последний раз видели роэльца. Трава, кусты, ветви деревьев хватали их, как петли силка. В этом безумном беге тоже не было никакого смысла, и все же они спешили так, словно это могло воскресить Блинка. Обессиленные, исцарапанные, они буквально опрокинули последнюю завесу кустов.

— Он здесь! — зарычал Кайзер. — Роэлец!

Хотя поблизости ветер колыхал тенистые кроны деревьев, роэлец сидел на самом солнцепеке — обнаженный, серо-коричневый, немигающий. Сидел с неподвижностью камня, лицо его было бесстрастней черепа.

Но это не был родец. На Кайзера и Осоргина в упор смотрели невидящие глаза Блинка.

По телу Осоргина волной прошел холод.

Не чувствуя ног, он сделал несколько шагов вперед, мельком заметив, что лицо Кайзера стало красным от напряжения.

— Блинк, — едва услышав себя, прошептал Осоргин. — Блинк! — Его голос внезапно сорвался в крик. — Что с тобой, Блинк?!

Губы Блинка приоткрылись, как щель, и из черноты рта выпали чужие, равнодушные слова:

— В твоём вопросе нет смысла, человек. Маленькому знанию не понять большого.

— Он бредит! — вскричал Кайзер. — Блинк, дружище, у меня во фляжке коньяк, глотни...

Осоргин удержал руку Кайзера.

— Подожди... Дело серьезней... Блинк, ты узнаешь нас?

— Вы оболочка слабого духа. Я лучше вас знаю, кто вы.

Осоргин сглотнул комок в горле.

— Ты прошел обучение до конца, Блинк?

— Я посвящен.

— И теперь?..

— Знаю все. Понимаю все. Повелеваю всем. Настоящий Блинк есть мир, и мир есть подлинный Блинк. Единство, вам недоступное.

— Ты был исследователем, вспомни! Ты пошел на это ради эксперимента. Ты хотел узнать и вернуться... Вспомни!

— Ваша наука — детская забава. Знания здесь.

— Тогда расскажи о них!

— Маленькому знанию не понять большого.

— Не тот разговор! — рассвирепев, Кайзер отстра-

нил Осоргина так, что тот пошатнулся. — Он же сошел с ума, разве не видишь?! Я отнесу его в лагерь.

Раскинув руки, Кайзер шагнул к Блинку и наклонился, чтобы взять его в охапку. И вдруг замер. Его красное лицо покраснело еще сильнее, поперек лба вздулась вена, напрягшиеся мускулы рук заходили от страшного напряжения — напрасно. Яростное усилие не приблизило его к Блинку ни на волос.

— Не старайтесь, — прошелестел бесцветный голос Блинка. — Вы тысячи лет будете искать истину, которой я уже владею. Смирите гордость мнимых владык земли, маленьких и несчастных, и идите ко мне...

— Нет!!! — Кайзер откинулся назад и едва не упал на спину. — Сумасшедший, сумасшедший, сумасшедший!

— Тогда прощайте. Бойтесь злых влияний бурного солнца, что сеют болезнь ума, и знайте: людей объединяют незримые и сверкающие волны. Несчастье передается, счастье передается, зло передается, добро передается волнами. Примите эту каплю знаний в подарок и уходите. Иначе сердце одного из вас не выдержит.

Словно мягкая рука отодвинула Осоргина и отодвигала все дальше и дальше от Блинка, но почему-то он не ощутил ни страха, ни волнений. Пятясь вместе с Кайзером, он видел, как уменьшалась фигура их бывшего товарища, а глаза его вопреки законам перспективы, наоборот, росли и росли. И блеск этих огромных, неподвижных глаз был сух. Как мертвый блеск слюды.

Им показалось, что прошли секунды, но неожиданно они обнаружили, что стоят на поляне возле сброшенных рюкзаков. И тут они словно очнулись. Молча, не обменявшись ни единым словом, они легли в тень и долго лежали там, бесконечно опустошенные.

Потом они нашли в себе силы вновь двинуться к месту, где был Блинк. Но там его уже не оказалось.

Тщетно кричали они до хрипоты, тщетно обшаривали окрестности — всюду дремотно стоял бескрайний лес, и не было в нем ни отзвука, ни следа.

Много позднее, когда надежды совсем не осталось и наступила ночь, сидевший у костра Осоргин уронил на колени руку, в которой он держал обнаруженный в палатке дневник Блинка.

— Что? — едва слышно спросил Кайзер.

— Ничего, — так же тихо и удрученно отозвался Осоргин. — Он тщательно фиксировал ход опыта...

— И?

— И где-то посредине потерял самоконтроль. Похоже, он слишком поздно понял...

— Что понял?!

— Что феноменальные способности розльца, в чем бы они ни заключались, достигаются уродованием психики... Может быть, я не прав. Может быть, всякий на его месте незаметно утратил бы качества исследователя, просто качества нормального человека. Но Блинк... Мы дураки, Кайзер, мы слепые идиоты, мы просто невнимательные, равнодушные люди, если не заметили, что его увлеченность и убежденность уже тогда приближались к фанатизму, за чертой которого кончаются и разум и наука!.. Мы не имели права оставлять его в одиночестве! Не имели!

Кайзер, насупясь, молчал.

— Не признаю, — с трудом, но твердо выговорил он минуту спустя. — Если алмаз не имеет твердости алмаза, он есть стекляшка. Исследователь, бессильный повелевать своим сознанием, не есть исследователь.

Осоргин чуть не вскочил.

— Исследователь — машина! — закричал он. — Исследователь человек! Мы оба в долгу перед Блинком, оба, ты слышишь, оба! Если бы не он, кто-нибудь из

нас был обязан изучить психику роэльцев! Он, именно он, избавил нас от необходимости дерзко рисковать собой. В чем-то он выше нас...

Кайзер ничего не ответил на эту вспышку. Он сидел, неподвижно глядя в огонь, и лицо его было замкнутое.

На третий день, который также ничего не продвинул в розысках, как и первый, они собрались в дорогу.

Стоя над упакованными вещами, они, однако, еще долго медлили.

— Надо идти, — сказал наконец Кайзер.

— Надо, — сказал Осоргин.

Кайзер снял шляпу.

Добравшись до города, они тотчас проявили снимки с роэльцем. На одном из них Кайзер, растопырив пальцы, подносил к губам пустоту. На втором он блаженно улыбался.



## СМЕШАНКА

— Не уходи после урока, — шепнул Рэм. — Покажу кое-что — ахнешь.

Лена скосила взгляд, отчего таинственное лицо Рэма стало еще более таинственным. Глаза Лены округлились, и она дважды кивнула в знак согласия.

Они дождались, пока школа опустела, и тогда Рэм, украдкой оглядываясь, подвел Лену к двери, над которой





горела надпись: «Без учителя не входить». Рэм толкнул дверь.

— Но ведь...

— Тсс! — зашипел Рэм. — Это не для баловства, мы будем экспериментировать.

— Ну, если так...

Слева от стены отделился робот.

— Не вижу сопровождающего, — прогудел он, широко расставляя руки.

— На дворе трава, на траве дрова, а где сам двор? — быстро спросил Рэм.

Робот задумался. Лена хихикнула. Роботы — ассистенты школьных кабинетов были старинной электронной рухлядью: их ничего не стоило сбить с толку любой бессмыслицей. Не дожидаясь, пока робот очухается, Рэм с Леной проскользнули в стартовый отсек.

Большую часть отсека занимала каплеобразная титанофomalъгетитовая шлюпка, точь-в-точь такая, какой пользуются на чужих планетах. Неистовое солнце, бившее в окна, зажигало на ее сферическом боку радужное сияние. Было тихо, как посреди пустыни.

Рэм откинул люк.

— Влезай!

— Но ведь это обыкновенный скайдер...

— Скайдер, скайдер, много ты понимаешь, — проворчал Рэм. — Ты что думала, я тебе кита покажу? Залезай, тогда и увидишь, какую я штуку сообразил...

Они влезли.

— К пульту, садись к пульту, — сказал Рэм, захлопывая люк.

С яркого света ребята едва не ослепли. В темной кабине скайдера медленно разгорались фосфоресцирующие шкалы приборов.

— Ну, ну? — заторопила Лена.

Рэм нетерпеливо отмахнулся. Он откинул панель секции управления и долго копался, что-то в ней соединяя или, наоборот, разъединяя. Волосы на затылке поднялись у него хохолком.

Внезапно под его пальцами с треском проскочила зеленая искра. Лена ойкнула.

— Тихо ты! — сдавленным голосом проговорил Рэм.

— Все идет как положено.

— И достанется же нам...

— Уж во всяком случае, не тебе, — огрызнулся Рэм, действуя ногтем как отверткой. — И вообще, чему нас учили? Ключ к новому — риск.

— Не риск, а расчет, — поправила Лена, болтая ногами.

— Расчет у меня точный. Сейчас двинемся.

— Куда?

— Увидишь.

— Хочу к центру Галактики.

— Дура, — сказал Рэм. — Там еще никто не бывал.

Лена обиженно замолчала.

Рэм закрыл панель, вытер руки о штаны и, приосанившись, взялся за рукоять пуска.

— Экипаж! — звонко прокричал он. — К старту готов?

— Готов! — тоненько ответила Лена, невольно распрямляя плечи.

— Старт!!!

В недрах скайдера что-то заурчало, дзинькнуло, корпус мелко задрожал — сильнее, сильнее, — ребят тряхнуло, и тут раскрылся затянутый дымкой обзорный экран.

— Прибавь резкость, — посоветовала Лена.

— Знаю и без тебя.

Дымка исчезла. Теперь скайдер окружали угрюмые толщи земных пород. Натруженно гудел двигатель. Корабль погружался в ночь — глухую, без просвета ночь подземных глубин, где каменный мрак был вечен, как сама планета.

Бесформенным облаком клубилось что-то еще более черное, чем сама ночь. Оно росло, вспухало, делилось, а потом слилось, и тогда в нем, словно корабль попал в грибницу, проступили бледные нити, запутанные и из-за движения скайдера шевелящиеся.

— Кварцевые жилы в базальте, — сказал Рэм.

— Точно, — согласилась Лена. — Это все, что ты хотел показать? Так мы и с учителями сколько раз путешествовали.

— А так?

Рэм тронул что-то на пульте.

И ночь поголубела. Ее растворил мерцающий далекий свет, идущий сверху, сквозь толщу чего-то жидкого, теплого. Пржилки кварца не исчезли, но стали прозрачными, как стекло, висящими как бы в пустоте, почти что призрачными оттого, что через них легко и свободно проплывали стаи узкотелых серебристых рыб.

— Ой, Рэм! — воскликнула Лена. — Что это?

— Спокойно, то ли еще будет!

И точно. Оттесняя все, экран вдруг заняли пирамидальные красные деревья. Засвистел ветер. Качнулись чешуйчатые ветки, роняя на песок капли зеленоватой смолы, тотчас вспыхивающие на лету маленьким ярким пламенем. Но сквозь все это, сквозь строй диковинных красных деревьев, полосу мрачно фиолетового неба вверху, завесу самовспыхивающей смолы проступили, едва привык глаз, и стаи серебристых резвящихся рыб, и голубой перелив моря, и хрустальный ажур подземного кварца. И даже чернота базальта присутствовала здесь некой тенью, придающей всему неожиданный оттенок траурных сумерек. Всему, даже огонькам смолы, чье пламя и в самый момент вспышки казалось закопченным.

Лена, забыв обо всем, смотрела как зачарованная. Рэм пытался сохранить значительное выражение лица, но его распирала счастливая, торжествующая улыбка.

Не выдержав, он вскочил с победным криком:

— А это видела? Видела?

Скайдер бросило в звездную пустоту и одновременно в ревущий шторм. Сквозь беснующиеся волны холодно

просвечивали туманные пятнышки других галактик, а на клокочущей пене лежал отсвет близкого, пылающего Бетельгейзе. И тотчас, повинуясь Рэму, клочотание моря сменилось жарким вихрем протуберанцев, которые обрушились с неба на проплывающую внизу дремотную предрассветную Землю.

— Еще! Еще! — возбужденно торопила Лена.

Скайдер нырлял из бездны в бездну. Несовместимое совмещалось: холодная вода и жаркий огонь, твердь и воздух, даль и близь, звезда и планета, черный вакуум и зеленая тайга... Миры мелькали, как стеклышки калейдоскопа. Они были здесь, они были там, нигде и везде, недостижимые, послушные, меняющие форму и цвет, подвластные детской прихоти, доступные, словно лежащий на ладони апельсин. Ими можно было играть, их можно было тасовать, наслаждаясь все новыми впечатлениями, все новыми сочетаниями. Галактика, зажатая в горсти...

Еще одно сочетание, еще и еще... И до бесконечности. Нет. Ладонь устала сжимать, глаза устали видеть. Лена отвернулась от экрана и деловито осведомилась:

— Как это тебе удалось?

— Головой думать надо, — наставительно произнес Рэм. — Скайдер — он что? Машина, телевизионно связанная с экспедиционными кораблями. Там летят, плывут, а сюда передается изображение. Вместо учебного пособия. «Это, дети (Рэм презрительно скривил губы), земная мантия, а это корабль приближается к Сириусу. Запомните и опишите потом своими словами». Все-то по полочкам, эх! А я вот захотел и устроил смешанку.

— Смешанку?

— Угу. Все попеременно и друг на друга. Здорово, правда?

— Здорово, — согласилась Лена, но уже без бывшего восторга.

Они еще немножко посмотрели смешанку. Забавы ради швырнули в кратер Этны какой-то астероид, заморозили в метановых льдах Плутона статуи острова Пасхи, подумали — не добавить ли чего еще? — но решили, что не стоит.

— Все равно это ненастоящее путешествие, — сказала Лена. — Это как бы настоящее.

— Хочешь, аварию устрою? — встрепенулся Рэм.

— Так скайдер же потерпит аварию...

— А ты хочешь, чтобы звездолет?

— Нет, нет! Только...

Она замолчала.

Рэм, хмурясь, выключил аппаратуру. Чужие миры, в последний раз призывно сверкнув всеми красками, отлетели в свои недоступные для ребят дали. Лена не возражала. Рэм включил внутреннее освещение. В тесном пространстве зиял пустой ряд кресел, поблескивал металл подлокотников, над головой низкой сферой смыкался эмалевый потолок. Слепо серел экран.

Рэм неторопливо уничтожил следы своего вмешательства в конструкцию скайдера, вытер руки о штаны и открыл люк. Они вышли из шлюпки, покинули школу и задумчиво побрели через лесок, окружавший здание.

— Да, ты права, — грустно сказал Рэм. — Смешанка тоже надоедает. Что бы такое придумать настоящее?

Лена не отвечала. Она шла по дорожке, прикрыв глаза, солнечные блики теплой ладонью гладили ее лицо, голые ноги купались в легком ветерке, пахло разомлевшей зеленью, и Лене было так хорошо, что никуда ей больше не хотелось, даже к центру Галактики.

А Рэм уже обдумывал план, который бы дал ему возможность попасть в одну из тех заманчивых экспедиций, что транслировались по школьному скайдеру. Для Лены он тоже искал в ней место.



## КАК НА ПОЖАРЕ

Включилась первая программа. Затормозив, аппарат лег в дрейф вокруг центрального светила. Раскрылись щитки, выдвинулись локаторы, ожили накопители информации. Скользящее в холодных пространствах тело аппарата стало похожим на махровую черную розу.

Датчики как губки впитывали всю разноголосицу космических полей и излучений. Иногда позади аппарата вспыхивали язычки огня. Тогда его орбита петлей обви-



вала то одну, то другую планету. К ним зорко и пристально приглядывались чашеподобные локаторы. Но к поверхности планет разведчик не приближался.

Внезапно его приборы поймали радиопередачу...

Включилась вторая программа. Аппарат сошел со звездоцентрической орбиты. Теперь он узил круги над избранной планетой. Его аналитический блок умно и быстро препарировал все идущие оттуда радио- и видеосигналы. И когда структура языков чужого мира была понята, включилась третья программа.



— «Эридан», вы с ума спятили?! На четвертую, говорю, на четвертую! Что-о! «Плутон», вас еще не хватало...

Что «Эридан» валился из космоса с неисправными двигателями — это еще полбеды. Что сеть внеземных станций уподобилась посудной лавке, куда шагнул слон, — тоже. Но авария центрального кибернетического мозга! Теперь все зависело от самообладания Тана Ростова, проворства его рук и крепости голосовых связок. Если бы в диспетчерской разом занялись все четыре угла, суматохи было бы меньше. Видеофоны неистовствовали, как болельщики в минуту гола, наземные службы орали сразу по пяти каналам, на пульте бились в истерике операционные сигналы, а тут еще вышел на связь «Плутон»!

— Немедленно!..

Взмокшие помощники разом повернули головы.

— Всех переключить на вспомогательные центры! Всех!

— И даже...

— И даже! Всех!

— «Плутон» до сих пор не получил от вас команды, непорядок, — жирным голосом напомнил о себе орбитальный грузовик.

— Катитесь к черту! — огрызнулся Ростов. — «Эридан», эй, «Эридан»! (Господи, что за олухи...)

— Буду жалов...

Локтем (пальцы были заняты) главный диспетчер выбил связь с «Плутоном». Ему было не до орбитального, ни до чего на свете, кроме «Эридана». Мог ли его кто-нибудь понять, кроме диспетчера же? Он с силой оттолкнул руку помощника, сующего трубку видеофона. И тут, как назло, заглушая слова, на волну «Эридана» полезла посторонняя передача! Мир положительно сошел с ума.

— Эй, на волне 8119, убирайтесь прочь! Сию же се-

кунду!!! Да не тебе, «Эридан», не тебе... 17-15, даю «Эридану» 17-15, сектор В, резерв! Подтверждения не слышу!

Еще бы! Наглец и не думал убираться с волны. Он шпарил что-то свое, и голос «Эридана» тонул в помехах, как писк комара в реве буйвола. Тан зашелся от ярости.

— Вон из космоса!!! — заорал он так, что дневной свет в глазах пошел красными пятнами. — 8119, убирайся вон!

Кажется, помогло. Волна очистилась. «Эридан» наконец уразумел, что от него требуется, расчетный центр справился с повреждением. Уф!..

И только теперь, когда можно было откинуться в кресле, и закурить сигарету, и мгновение ни о чем не думать, память выплеснула в сознание обрывок фразы из той, посторонней передачи. Тан Ростов не донес сигарету до рта. Он так и замер с выпученными глазами.

\* \* \*

Аналитический блок разведчика трижды оценил ситуацию. Трижды перепроверил полученные данные. Ошибки не было. В ответ на дружеское послание далекой планеты последовал энергичный и недвусмысленный приказ убираться. Дважды повторенный, граничащий с оскорблением приказ.

У автомата не было гордости, но она была у его создателей. Они предусмотрели возможность враждебного отказа, и потому незамедлительно включилась запасающая программа.

Локаторы мгновенно убрались в гнезда, щитки захлопнулись, аппарат развернулся, за его кормой выросло пламя. Уже через час система негостеприимной звезды, отвергнувшая дружбу древней цивилизации Галактики, скрылась из виду.



## СЛОМАЛСЯ ЭСКУДЕР

Лесная дорога сворачивала вправо. Там была лесная поляна, вся в желтых цветах лютика, и над поляной висело обыкновенное летающее блюдо.

Именно в этот момент люк распахнулся, и по воздуху, как по трапу, на землю спустился инопланетянин. Он был маленький, кругленький, розовенький, почти голый и блестел, точно смазанный.



Я не испугался и даже не очень удивился, потому что многочисленные рассказы и статьи о грядущем Контакте психологически подготовили меня к такой встрече. Было только ужасно неловко, что на мне нет строгого черного костюма, нейлоновой рубашки и галстука. Я застегнул ворот ковбойки, смахнул с локтя приставшую в лесу паутину, шагнул навстречу инопланетянину и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответил он мне, не раскрывая рта, на чистом русском языке, и этому я тоже не удивился, так как из литературы знал, что среди других

цивилизаций телепатический обмен мыслями развит необыкновенно.

— Здравствуйте, — повторил он. — У меня сломался эскудер. Где тут ближайший соттар?

— Что? — изумился я. — Соттар? Это что такое?

— Как что такое? — теперь изумился он. — Ну, это... Это есть... такое место, где чинят...

— Ремонтная мастерская? — догадался я.

— Вот-вот! Понимаете, мой эскудер...

«Эскудер... — ошалело подумал я. — Соттар... Ремонтная мастерская...» Не так мне рисовалась встреча. «Ах да! Он же потерпел аварию! Тогда все понятно. Он ищет у землян помощи».

— Что у вас случилось с двигателем? — спросил я, заглядывая под блюдо.

— Вы спектралист? — обрадовался он. — Тогда, может быть, вы мне объясните, отчего во время фикаризации субтит желтокс?

При слове «желтокс» глаза у меня непроизвольно полезли на лоб. Контакт «братьев по разуму» явно отклонялся от традиционной схемы.

— Вы потерпели аварию, — тупо сказал я.

— Какую аварию? — он даже подпрыгнул. — Желтокс субтит!

— А этот... как его... эскудер не субтит?

— Вы с ума сошли! Как может эскудер субтит? Позвольте, так вы, значит, не спектралист?

— Нет, — ответил я.

— Так чего же вы меня путаете? Скажите прямо: смогу я здесь починить эскудер или нет?

— Наша земная техника... — начал было я давно застрявшую в горле фразу.

— Не ваша, так соседней планеты, — нетерпеливо перебил он. — Какая разница!

— Большая, — сказал я.

Он фыркнул от возмущения.

— Знаете что, мне некогда шутки шутить. Мне нужно починить эскудер. Я не могу без эскудера. Так есть у вас где-нибудь тут поблизости, — он обвел розовым пальцем небо, — ну, не соттар, а хотя бы примитивный спуч?

— Вот что, — сказал я. — Я не знаю, что такое «спуч». И что такое «желтокс». Но я рад приветствовать вас на Земле. Мы счастливы, что Контакт наконец-то установился. И в этот торжественный миг...

— Как? — заволновался инопланетянин. — Выходит, я не туда попал?

— Разве вы летели не на Землю?!

— Впервые слышу о такой звездной системе.

— Это название нашей планеты!

— Прелестное название! И у вас мило, очень-очень мило... Как жаль, что у вас нет соттара!

— Зато у нас есть...

— Знаю, знаю! Всекие там памятники, пейзажи... Но у меня кончается отпуск.

— Так вы не исследователь?! Не ученый?

— Нисколько. Я...

Он не договорил. По его лицу медленно разлилось недоумение. Он посмотрел на свои ноги, потом на меня...

— Это что такое?! — взвизгнул он, показывая на двух жирных комаров, которые с явным намерением покусать прилепились к его бедру.

— Это комары. Сгоните их.

— Кусаются?!

— Пустяки, не обращайтесь внимания.

Инопланетянин резво подпрыгнул и, дрыгая пятками, взмыл к своей скорлупе.

— Куда же вы! — закричал я. — Поймите, наконец,

что вы первый представитель иной цивилизации, который...

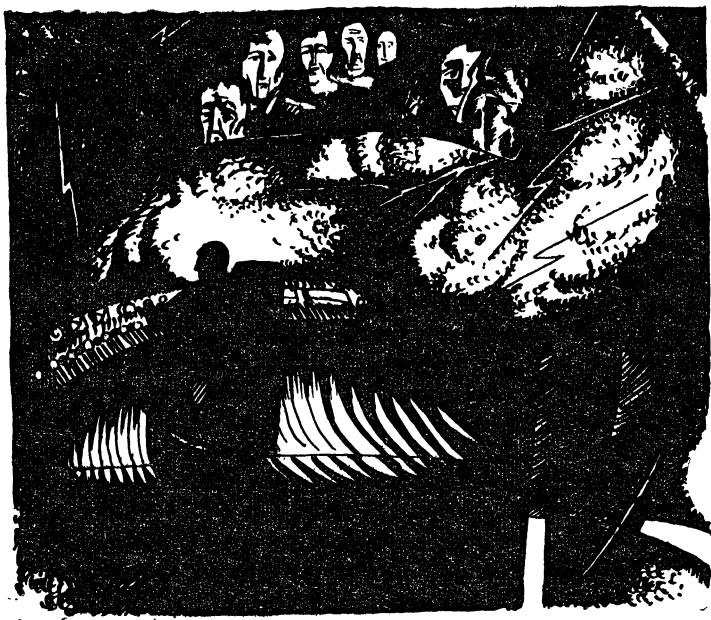
— Если другим нравится, когда их кусают, то это их дело, — донеслось из люка. — Прощайте, прощайте!

Спина у него была такая гладенькая и ухоженная, что я понял всю безнадежность попыток достичь взаимопонимания. Она прямо-таки сочилась презрением.

— Эй! — заорал я ему вслед. — Всего один вопрос: что это за штука такая — эскудер?

— Эскудер? — он оглянулся. — Вы даже этого не знаете! Странно! Чем же вы тогда чистите зубы?

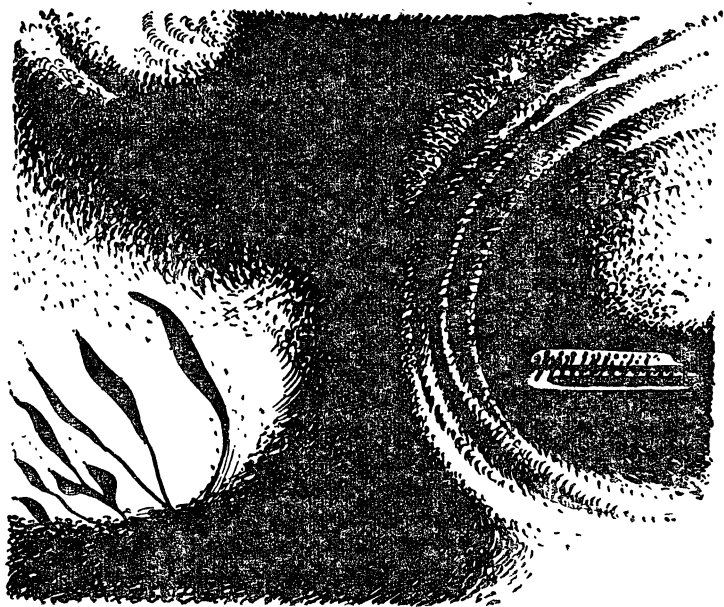
Люк захлопнулся. Инопланетянин отбыл.



## ЕГО МАРС

Все торопились выпить эликсир, кое-кто еще дожевывал бутерброд, из автоматической кофеварки с шипением вырывались клубы пара, играла музыка. «Девочки, девочки, мы опаздываем!» — раздалось слева. Там возникло движение, разноязычный гул на мгновение притих, потом зажужжал с удвоенной силой. «Пardon!» — послышалось рядом, и чей-то локоть мягко развернул Силина; ему в лицо ударило марсианское солнце, безжиз-





ненно-яркое из-за спектроля; пламенем полыхнули рыжие волосы девушки, оказавшейся напротив; она скользнула по нему равнодушным взглядом и быстро заговорила что-то на ухо коренастому тугощекому парню, который меланхолично кивал в ответ. Силин тоже протиснулся к стойке и налил себе эликсир. Коричневая жидкость шипяще вспенилась. Он выпил горький эликсир и подумал, что у напитка дурацкое название. Гул, музыка, суматоха внесли растерянность в его мысли, да и не удивительно, потому что вокруг все знали, чего хотят, а он нет.

«Экскурсия № 2, просим к шлюзу! Просим к шлюзу экскурсию № 2! Не забудьте выпить эликсир! Выпить эликсир не забудьте!»

Силина опять развернуло, но на этот раз он подчинился общему движению. Проклятая акселерация! В молодости он был видным мужчиной, а теперь перед глазами маячили затылки тех, кто годился ему в сыновья и в дочери. Самодвижущаяся песчинка в потоке. Все равно так было лучше, чем бесцельно стоять в одиночку среди тех, кто одиноким себя не чувствовал.

Пропускали по очереди. Едва человек переступал порог шлюза, проем загорался зеленым — это значило, что турист принял эликсир. Перед Силиным шел юноша в радужной дюроловой куртке, и его встретил не зеленый, а красный сигнал. Юноша споткнулся от неожиданности, и куртка на нем полиловела. Очередь засмеялась. Тотчас на куртке выступили пятна желчи. Смех усилился. Лишь отчаянные модники носили одежду из дюроля, которая меняла цвет в зависимости от настроения владельца, чем нередко ставила его в глупое положение. Юноша бегом помчался пить эликсир, а Силин прошел в шлюз.

Открылась дверь наружу, и передние скорчили гримасу. Но это неудовольствие было скорей деланным. Все озирались с победным видом — как-никак они дышали марсианским воздухом, настоящим марсианским воздухом, кисловатым и разреженным, так что от частых и глубоких вдохов высоко вздымалась грудь.

— Раньше туда нельзя было сунуться без скафандра, — зачем-то сказал Силин.

— Ну да, при царе Горохе, — бойко отозвалась черноволосая девушка с глазами цвета бирюзы и фыркнула в ладонь.

«Это было при мне!» — хотел сказать Силин, но сдержался. Девчонка по-своему права. Все, что было до

ее рождения, будь то Древний Рим или освоение Марса, существовало для нее в стереофильмах, книгах, учебниках, но никак не в ее памяти, и к Марсу она должна была относиться иначе, чем он, тут ничего нельзя было поделать. Но ему стало грустно. Среди этих людей он был единственным, для кого прошлое сохранило цвет, запах и вкус. Воспоминания — богатство стариков...

В просторном салоне они расселись по мягким креслам, и аэробус, набирая скорость, заскользил на воздушной подушке. Полусфера крыши была из спектроля, и днище тоже было из спектроля, весь аэробус, кроме ходовой части, был сделан из прозрачайшего спектроля, поэтому казалось, что над марсианской равниной летят поставленные в ряд кресла, а их, словно вожак-журавль, тянет на незримой привязи оперенный каскадными рулями двигатель.

Удаляющееся здание турцентра сверкало, как хрустальное яйцо. По сторонам от трассы до самого горизонта росли посаженные в шахматном порядке мутанты гималайских сосен. Темно-синюю хвою припудривал кирпичный налет пыли.

— Интересно, тут есть грибы? — спросил тугощекий спутник рыжеволосой девушки.

— Должны быть, — ответила она. — Где лес, там и грибы.

Она покосилась на Силина, будто ища подтверждения. Но Силин ничего не мог ответить: на его Марсе грибов не было.

— Об этом, вероятно, сказано в путеводителе, — парень зашуршал брошюрой.

— Вы только поглядите, все озеленено! — восторженно воскликнула какая-то женщина.

Фиолетовое небо над головой было прежним. Чистым, пустым, слегка тронутым изморосью перистых об-

лаков. Как льдинка, опущенная в родник, в нем таял серпик Фобоса.

Вдали проступила зубчатая череда гор. Сосед Силина с треском разорвал пакет с миндалем и горстью отправил лакомство в рот.

— Угощайтесь, — сказал он, протягивая пакет.

— Спасибо, — ответил Силин. — Не хочется.

— Да-а, — задумчиво протянул сосед, не переставая жевать. — Как представишь, что раньше здесь ничего не было... Даже не верится.

— Почему «не было»? — сказал Силин. — Было.

— Как так «было»? — сосед с интересом взглянул на Силина. Когда он говорил и жевал, кожа под подбородком собиралась у него в складки. — Раскопки доказали, что на Марсе никогда не было ничего похожего на цивилизацию.

— Была природа. Дайте, пожалуйста, вашего миндаля, я передумал.

— Берите, берите... Природа, значит? Природа и сейчас осталась. Я очень люблю настоящую природу. Ради этого я сюда и летел. Поэкскурсирую, а потом двинусь с палаткой к хребту Митчелла. Жаль, что здесь нет рыбы.

— В подледных морях есть.

— Не могу же я тащить с собой буровую установку! Но, может быть, заказать вертолет? Как вы думаете?

— Обязательно закажите. Тридцать метров песка и столько же льда, а под ними стаи безглазых рыб. Попадают экзemplяры весом в центнер.

— Вы шутите? Впрочем, я понял. Вы хорошо знаете Марс. У меня нюх на таких людей.

— Что вы! На Марсе я бывал так, заездом.

— Командировка?

— Нечто в этом роде. Давно.

— Жаль, что я ошибся. Вы говорите — давно? Вы не застали те времена, когда...

— Нет, не застал. Это было до меня. Или после. Не помню.

— Жаль, очень жаль. Рассказы бывалых людей — это очень интересно. А откуда вы знаете про рыбу?

— Прочитал где-то.

— Место не припомните?

— Нет.

— Досадно. Но вы меня зажгли. Расспрошу на базе. Еще миңдаля?

— Спасибо.

Сосны кончились. Аэробус описал полукруг над коричневым плато, и у Силина защемило сердце. Где-то здесь он впервые увидел Марс. Справа, как и сейчас, была цепь гор, три ржавые копьевидные вершины, синие ледяные тени в провалах. Ветер вздымал фонтанчики красного песка, пузырился оплавленный при посадке камень. Ошалев от радости, они стреляли в воздух и обнимали друг друга, а потом вдруг притихли и долго-долго смотрели на эти горы, пересыпали в ладонях марсианский песок, веря и не веря, что они стоят на чужой планете и что это не сон.

— Мы приближаемся к Памятнику, — торжественно возвестил автоматический гид. — Именно здесь пятьдесят восемь лет назад впервые совершил посадку на Марс космический корабль...

«Это был не мой корабль, — подумал Силин. — Наша экспедиция была третьей. Но садились мы здесь, ориентируясь на радиомаяки первой. Интересно, они сохранились?»

Ему почему-то хотелось, чтобы маяки сохранились.

Аэробус проскочил гребень, и Силин в первое мгно-

вание не поверил своим глазам. Ему показалось, что это действительно ракета и она действительно садится в огне, дыму и вихрях пыли. Памятник был сделан искусно. Разноцветный спектроль с абсолютным правдоподобием воспроизводил и столб угасающего пламени, и разбегающиеся от него черные клубы дыма. Это пламя ревело, этот взметнувшийся песок клокотал, эта ракета вибрировала, оседая на газовую подушку.

— Подумать только, на каких керосинках летали, — вздохнул сосед.

Все головы были повернуты в одну сторону, все смотрели на Памятник, а гид торопливо разъяснял, в чем его красота.

Аэробус сел, туристы вышли и потянулись гурьбой к Памятнику, на ходу вытягивая из футляров киносьемочные голографы.

Силин отстал. Он искал взглядом место, где были маяки.

Он чуть не прошел мимо одного из них, потому что по привычке искал их поодаль от места посадки. Но их перетасили ближе, вероятно затем, чтобы посетители могли осмотреть все, не тратя время на ходьбу.

Силина удивило, что радиомаяк выглядел как новенький. Этого не должно было быть, потому что уже тогда струи песка счистили с него защитный лак и он был матовый, изборожденный царапинами. Силин нагнулся и прочел пояснительную табличку. «Радиомаяк, по пеленгам которых садились первые марсианские экспедиции. Реконструирован в стиле той эпохи».

Все правильно. Тогда была другая эпоха. Герои летали на керосинках. Садились вслепую по этим... как их... ах да! — радиомаякам. «Реконструирован в стиле той эпохи...»

Внезапно Силин почувствовал огромность прожито-

го Ему-то казалось, что все это произошло недавно. Вещи всегда были долговечней людей. Теперь все наоборот. Ему восемьдесят лет, он жив, он помнит корабли, давным-давно сданные в музей, помнит дома-коробки, которых уже нет, помнит хлебные поля, вытесненные синтепищей. «Последний из могикан, — Силин усмехнулся. — Что ж, все правильно».

Туристов он застал за осмотром мемориальной стены. На сером граните были выбиты изображения тех, кто осваивал Марс, ниже стояли их фамилии, даты первых экспедиций. Коротко упоминалось, кто что сделал. Силин увидел и свой барельеф. Да, о нем не забыли. Каменный Силин смотрел на живого Силина сурово и бесстрастно. Живой Силин не чувствовал волнения. Это был не он, таким он никогда не был, с барельефа смотрел не человек, а суровый герой, кем-то выдуманный в назидание потомкам.

— Говорят, кое-кто из них еще жив, — донеслось до Силина.

— Что ты, они все погибли, это я знаю точно...

— Нет же! Бергер жив, Силин жив, их недавно показывали по стереовидению...

Силина передернуло. Он хотел отойти, но заметил, что рыжеволосая девушка наклонилась и положила к подножью мемориала букетик цветов.

— Почтили память?

Голос ему изменил, и девушка посмотрела на него с недоумением.

— А что тут такого? — спросила она осторожно.

— Вы знали кого-нибудь из тех?

— Кто же их не знает?

— Я, например.

— Вы? Но ведь они, очевидно, были вашими современниками?

— Эти герои?

— Ну да. По-вашему, они не герои?

— Конечно, нет. Просто они делали свое дело, вот и все.

— Дело делу рознь. Я тоже делаю свое дело, но никто...

— У вас характерный загар. Вы работаете в космосе?

— Да, на Ио. В обсерватории.

— И сюда прилетели отдыхать. С Ио. В вашем возрасте я и представить не мог, что наступит время, когда работа на Ио станет обыденностью. Как и отдых на Марсе.

— К чему вы все это говорите? Вы в чем-то хотите меня убедить? В чем?

— Не обращайтесь внимания. Все старики ворчливы и хотят неизвестно чего. Свойство возраста. Все у них есть, а они с тоской вспоминают дни, когда у них ничего не было.

Силин ушел, провожаемый удивленным и чуточку встревоженным взглядом девушки. Он досадовал на себя, что затеял этот глупейший разговор. Что он хотел сказать? Что? Так было всегда. Люди с риском для жизни пробивались к полюсу, а через несколько десятилетий над тем же полюсом стали регулярно летать комфортабельные лайнеры и пассажиры с любопытством поглядывали в иллюминатор. Ах, это и есть полюс? Та самая таинственная точка земного шара? Вот эти льды? Не знал бы, так и не обратил внимания! По пятам подвига всегда следует обыкновенная жизнь. Так, значит, ради нее-то люди и рискуют жизнью? Переступают грань возможного ради нее?

«Да, — ответил себе Силин, — и ради нее тоже. Но не во имя. Не во имя безграничного расширения обы-



денности. Тогда во имя чего же? Или во всем этом извечном движении к новому смысла не больше, чем в завоевании морскими животными суши сорока миллионов лет назад?

«Космический пессимизм, — подумал Силин, — у меня космический пессимизм. А все потому, что я сегодня встретился с пошлостью, и она заслонила все. Вот это и есть старость. Каждый шаг вперед, через непреодолимое, изменяет жизнь. Опять не то! Изменения ради самих изменений — тоже мне цель... Но она есть, коль скоро люди поступают так, как они поступают. Мы хотим, чтобы с каждым поколением жизнь делалась лучше. Разумней. Счастливей. Только это и гонит всех нас вперед. Только это.

Мы открываем детям новые горизонты, они идут дальше, так и должно быть. Если человечество вдруг скажет, что оно достигло всего, и мечтать больше не о чем, и стремиться некуда, то, значит, пришел его смертный час. И я не имею права оценивать этот Марс мерками своей юности. Как и свою роль в его изменении, впрочем. Так каменщик, кладущий свой кирпич, не имеет права сетовать даже в том случае, если потомки снесут построенный им дом ради возведения другого, лучшего.

А пошлость? Просто это очень живучий сорняк, ничего, исчезнет и он».

После Памятника аэробус доставил экскурсию к скале «Медная богиня», возле которой находился заповедник марсианских эретриумов. Они побродили среди синых вздутых странных растений, пообедали в кафе и двинулись к Морю несчастий.

— Нет, что бы там ни твердили, а на Луне интересней, — полулежа в кресле, благодушно разглагольствовал сосед Силина. — «Ночь лунных цветов» — это же

прелесть! Вы не были там? Нет? Уютный ресторанчик в кратере Аристарха, кухня там бесподобная, но все это пустяки. Там надо быть в полноземелье. Сидишь под куполом, чернота, а в ней точки, точки, — белые, желтые, красные, синие, зеленые звезды...

— Зеленых звезд не бывает.

— Неважно. А кругом равнина, залитая земным светом! Чувствуете контраст? Мысли все какие-то торжественные, и музыка тихо-тихо играет... И Земля светит. Фантастика! А потом начинают падать метеориты. Искусственные, конечно. Но этого посетителям не говорят, чтобы не разочаровывать. Знаете, как это прекрасно? Поднимаются фонтанчики пыли, свет в них блестит перламутром, они как цветы... И тут же опадают. А на Марсе что? Почти как на Земле. Не-ет, Марс меня разочаровал...

— Тогда утопитесь.

— Как? Я вас не понял...

— Ну, если вам даже на Марсе скучно, тогда зачем жить?

Сосед растерянно хихикнул, потом обиделся. Разговор, естественно, иссяк.

— Мы приближаемся к месту, где в период освоения Марса природа бросила человеку наиболее суровый вызов, — сдержанно заговорил автогид. — До того, как мы научились регулировать погоду планеты, здесь было подлинное гнездо песчаных бурь — коран. Сейчас, когда мы только что миновали энергостанцию, а впереди по курсу лежат сады Сезоастриса, трудно поверить, что когда-то почва и воздух вдруг закипали здесь и ураган подбрасывал вездеходы, словно это были песчинки. Но так было. Здесь, на этой страшной равнине, погибли...

Аэробус парил над блекло-розовой равниной, и впер-

вые за всю поездку вокруг была пустыня, не отмеченная человеческим присутствием. Даже небо здесь было другим — тусклым и непрозрачным. «Пятьдесят лет назад при виде такого неба я убрался бы отсюда со скоростью щенячьего визга, — подумал Силин. — Блекман тогда не успел удрать. Когда мы нашли его после бури, он был еще жив, и нам пришлось отрубить раздавленные ноги, иначе его нельзя было вытащить».

— Представьте себе на мгновение, — донесся до сознания Силина голос гида, — что небо над вами вдруг мертвеет в абсолютной тишине, а на равнине исчезают тени, хотя солнце светит ярко, и горизонт отступает далеко-далеко. Вы одни, Марс — пустыня на тысячи километров вокруг, вы ничего не подозреваете, но безотчетная тревога овладевает вами, точно вы очутились под стеклянным колпаком и кто-то пристально глядит на вас. Сейчас ничего подобного произойти не может, но призовите на помощь воображение, забудьте, что Марс обитаем. Вы сидите в тесном вездеходе, навстречу бежит нескончаемая пустыня, и в ней медленно тают тени...

Силин едва не вскочил. Вероятно, у него был дикий вид, ибо кто-то испуганно осведомился: «Вам нехорошо?» Силин не расслышал. Рядом сидели люди, вполуха слушали гида, болтали, лениво смотрели по сторонам, кое-кто подремывал. А тени становились прозрачными!

Они этого не видели, а он видел. Но это был абсурд!

Он выждал секунду, чтобы убедиться в ошибке. Ошибки не было. Горизонт отступил вдаль, небо стекленело. Голос автогида шелестел и шелестел, потом его внезапно пересекла пауза, громом отдавшаяся в ушах Силина.

— Внимание... — зазвучал уже другой, спокойный до неестественности голос. — Прошу вашего внимания. На погодной станции произошла небольшая авария, и, пока ее исправят, всем надо пристегнуться, так как аэробус может попасть в ветровой поток...

— Ну и что? — спросил сосед. — Подумаешь, ветер...

Застывшим взглядом Силин обвел длинные ряды кресел. Прозрачный аэробус, прогулочная игрушка, слишком изящный, слишком беззащитный — и к нему... движется... корана? Нет!!!

Да. Все говорило об этом.

Силин встал, бочком, незаметно скользнул в водительский отсек. Задвинул переборку. Кресло выросло откуда-то из пола и любезно развернулось, приглашая сесть. На пульте управления лениво помаргивали сигнальные лампочки. Силин включил связь, теперь он был совершенно спокоен, ибо знал, что ему следует делать.

— Алло, центр! Программа киберводителя рассчитана на корану? Прием.

Ошеломленное молчание, как он и ожидал. Пауза вполне достаточная, чтобы уяснить назначение доброй дюжины переключателей, кнопок и тумблеров, рассеянных по пульту. Он управлял сотнями машин посложней этой, он обязан был понять, что тут к чему, и он это понял.

— Кто говорит? — наконец выпалил эфир. В нем стоял грохот, как от рвущихся вдалеке мин.

— Неважно! Отвечайте на вопрос: киберводитель запрограммирован на корану?

— Нет... То есть...

Голос утонул в помехах. Он должен был утонуть, Силин ждал этого. Его ужаснула беспечность тех, кто отвечал за безопасность полета. Горизонт мрачнел. Он просел, как под тяжестью, и вдруг с быстротой

атомного взрыва вспучился изжелта-черными клубами.

— Перехожу на ручное управление! — выкрикнул Силин.

— ...дите! — захрипело в ответ. — Передаю мик... к... не... не...

Силин выключил ставшую бесполезной связь. Все вернулось на круги своя. Он снова один, снова на Марсе, в его руках штурвал, он снова, как в молодости, дает бой коране.

Мельком он глянул в зеркало обзора. Лица скорей удивленные, чем испуганные, — что значит привычка к безопасности! Хрипло бормочет динамик, не разобрать что. Но пристегнулись все.

Машину приподняло, как на лифте, и он тотчас забыл о пассажирах. Прошитый молниями вал кораны стрелял вверх и вниз черными струями, и там, где струи касались почвы, она вспарывалась, как гнилая материя.

Силин нацелил машину носом к коране, слегка бросил ее вниз, вверх, в сторону. Нет, он не утратил реакции. Каждая клеточка его тела помнила корану, знала, что и как надо делать. Машина повиновалась безусловно. Он был несправедлив к ней: мощная, маневренная — не чета древним вездеходам. С такой машиной он еще посмотрит, кто кого...

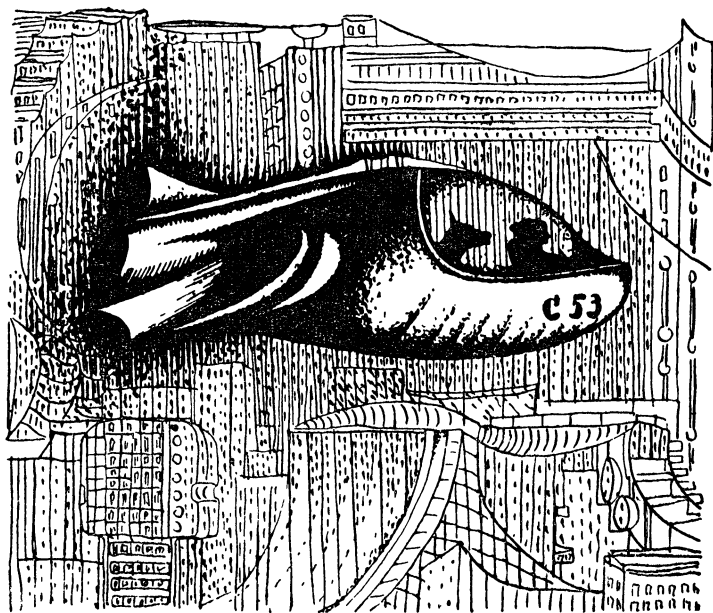
Синеватый от трепета молний коготь кораны рванул почву. Ветровое стекло окатил жидкий огонь. Машину завертело штопором, но Силин удержал ее. Он рванул ее вверх, вверх, в самый центр клубящегося взрыва, где, как он знал, было безопасней всего.

«Только бы не шмякнуло первым ударом!» — пронеслась мысль, а потом уже и мыслей не осталось, потому что машина скользнула в ад.

Зрелищная машина, встроенная в корпус аэролета, имела четкую программу. Сначала она должна была с помощью гипнополя убедить туристов в подлинности кораны и затем через динамик в салоне быстро успокоить волнение известием, что это всего лишь «грезы наяву», историко-миражный спектакль, входящий в план экскурсии. Поступок Силина предусмотрен не был, и машина на него не реагировала.

А люди, вдруг услышавшие в эфире голос Силина, не сразу пришли в себя.

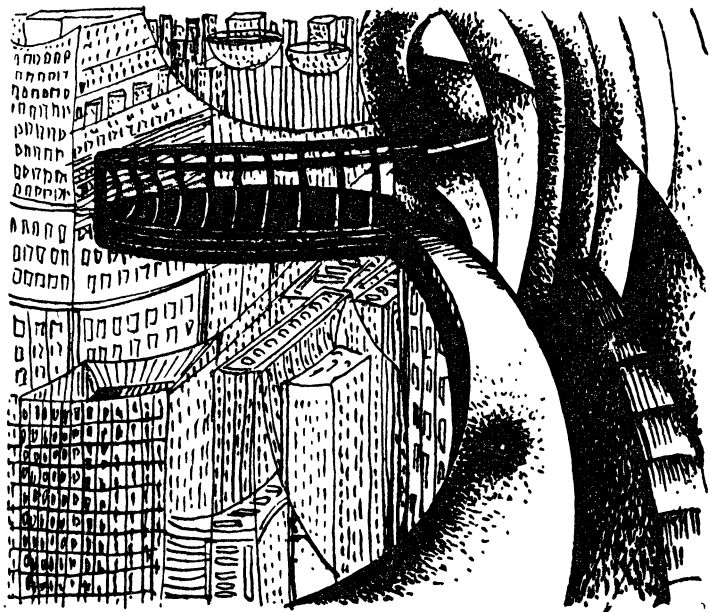
Но, даже сообразив, что к чему, они не знали, на что решиться. Никто из них не подозревал до этой минуты, что турист Силин и есть тот самый человек, который открывал Марс. И теперь все задавали себе один и тот же вопрос: убьет его правда или нет?



## ГОРОД И ВОЛК

С бархатным протяжным гудением трансвей причалил к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло. Волк перемахнул через борт ограждения. Когти чиркнули по сибролитовому покрытию, и Волка развернуло, чего он никак не ожидал.

— Надо сходить, как все люди! — укоризненно сказал прохожий, которому он ткнулся в ноги.



В три прыжка Волк пересек платформу и стремительной серой молнией скатился по лестнице.

Солнце клонилось к вечеру и светило сквозь ваны верхнего яруса, точно в бамбуковом лесу. Нахлынуло столько запахов, что Волк остановился.

Потом, наклонив голову, он размашисто побежал по дорожке, наприятно гладкой и до отвращения прямой.

Город был справа и слева, впереди и сзади, вверх и вниз. Взгляд Волка скользил по массивным, как скалы, или, наоборот, ажурным, точно деревья, конструкциям, путанице пролетов, галерей, арок; без внимания не



осталась игла Космической башни, которая возвышалась над скопищем аэрокрыш, виадуков, висячих садов и движущихся лент тротуара. Этот город был незнаком Волку, но ничего особенно нового он в нем не находил. Да, по правде сказать, зрение в его жизни не играло исключительной роли. Подобно всем волкам, а он был им не только по имени, он в равной мере полагался на слух и обоняние, особенно на обоняние. То было заповедное царство, в котором человек чувствовал себя беспомощным. Сель порой чуть не плакала, пытаясь понять, каким образом, например, Волк отыскивает ее в незнакомом и многолюдном городе, а он ничего не мог объяснить, потому что и сам не знал. Когда он искал Сель, его просто влекло куда-то, один район был явно предпочтительней других, но почему? Секрет был не только в тонкости обоняния, а и в чем-то еще, близком, но не тождественном, о чем среди людей давно уже шли споры. Вот и сейчас Волк держался избранного направления, уверенный, что правильно идет к тому месту, где сейчас находится Сель. Само это место, положим, имело весьма расплывчатые очертания, но это не беспокоило Волка — Сель не ждала его раньше заката.

Возле лифта на нижний ярус никого не оказалось. Волка это не смутило. С лифтом он и сам мог справиться. Вскочив в кабину, он встал на задние лапы, дотянулся до пульта и когтями придавил третью снизу кнопку. Дверцы бесшумно сомкнулись, и лифт заскользил. Древний страх западни, как всегда в таких случаях, на мгновение охватил Волка, но тотчас исчез. В конце концов Волк был сыном третьего поколения очеловеченных хищников, а это кое-что значило.

На нижнем ярусе было так же светло и тихо, как и на верхних, но лапы Волка ощущали легкое дрожание почвы, когда в подземном горизонте проносились вагоны

метро, сцепки контейнеров или пневмогрузы. Люди не считали, что на нижнем ярусе беспокойно, но Волк был иного мнения. Месяц в тундре не прошел даром, и Волку не понравились гул и вибрация. Поэтому он не вскочил на тротуарную ленту, а, лавируя среди прохожих, углубился в парк. Бежать здесь было приятней еще и потому, что отсутствовали все эти гладкие, пружинящие, зеркальные покрытия, которые великолепно служат людям, но не слишком удобны для лап. Песок был куда лучше.

Лань выглянула из-за куста и проводила его долгим взглядом. Волк даже не обернулся. Он уважал законы города, и лань это знала, поэтому не двинулась с места.

— Эй! — услышал он, когда пробежал берегом озера.

Волк замер. С гребня невысокой дюны ему махала девочка лет пяти, другой рукой убирая с лица спутанные пряди волос. Едва Волк остановился, она ринулась по крутизне, оступилась и, взрывая песок, в восторге съехала на попке.

— Здравствуй, ты почему не отвечаешь? — выпалила она, вставая и отряхивая штанишки.

Ошейник, который был на Волке, ничего общего с настоящим ошейником не имел. То был транслятор, который даже беззвучные колебания гортани переводил в человеческую речь. Его надо было лишь включить. Волк дважды поднял лапу. Девочка радостно закивала, ее пальцы скользнули по ошейнику.

— Теперь здравствуй, — сказал Волк.

— Здравствуй, — девочка слегка картавила. Ее зеленые с рыжими крапинками глаза горели нетерпением.

— Мы будем играть в Красную Шапочку, — тотчас заявила она.

— Во что?

Говорил транслятор, и, если бы не kloкочущее в горле

ворчание, которым сопровождалось слова, можно было бы поверить, что зверь владеет человеческой речью.

— Какой же ты непонятливый! — девочка топнула босой ногой. — Мы будем играть в сказку! Красная Шапочка — это такая девочка, она идет в гости к бабушке, а бабушка...

Теперь ворчание исходило из транслятора, который переводил слова ребенка в доступные волку звуко-сочетания.

— ... И когда девочка спросила, отчего у бабушки такие зубы, волк, который притворился бабушкой, говорит: «Чтобы съесть тебя»!

— Он съел?

— Не-ет... Появились охотники и...

Волк впервые слышал эту сказку. Он плохо улавливал ее смысл, но она всколыхнула в нем что-то забытое, неприятное, что, замирая, тем не менее передавалось от поколения к поколению, как некая наследственная память о давнем кошмаре, который преследовал волчьи стаи в образе человека с громоносным ружьем. И Волк решительно замотал головой.

— Не хочу. Будем просто играть.

Девочка нахмурилась, но не прошло и секунды, как она уже очутилась на спине Волка, он помчал ее, а потом бережно сбросил и, когда она с хохотом уцепилась за хвост, обернулся и грозно оскалил зубы. Они долго и самозабвенно возились, боролись, свивались в клубок, барахтались, тормозили друг друга, потому что оба умели наслаждаться игрой.

Гулявший неподалеку старик, замедлив шаг, приставил ладонь козырьком.

— Семьдесят лет, — он покачал головой. — В дни моей молодости, да, в дни моей молодости кто бы подумал, кто бы мог подумать...

Юноша, его спутник, ничего не ответил. Он считал само собой разумеющимся, а потому неинтересным и то, что в центре большого города волк играет с ребенком, и то, что этот волк свободно общается с людьми. Идею, которая так поразила современников старика, он находил столь же банальной, как утверждение, что дважды два — четыре. Если мозг пещерного человека биологически равен мозгу человека двадцать первого века, а интеллект, несмотря на это, ушел далеко вперед, то кому же не ясно, что и мозг животных может обладать внушительными резервами! Просто никто не занимался развитием их интеллекта, да и не умел, а как только сумели...

Доказанное и примелькавшееся всегда банально.

Расставшись с девочкой, Волк почувствовал себя освеженным. Крутой подъем вскоре вывел его на вершину холма. Космическая башня была отсюда как на ладони. Крохотная ракета взмывала более чем на километровую высоту, увлекая за собой клокочущий огненный столб.

Вокруг Башни мошкаррой вились реалеты. Волк на мгновение поднял голову. Огнепад пламенел в лучах заходящего солнца. На Волка он не произвел впечатления. Все чересчур огромное, далекое и неподвижное, будь то здания или горы, не имело существенного значения, так как ничем не угрожало и не сулило перемен; оно могло быть или отсутствовать — от этого ничего не менялось. Серый полог на востоке и перистый веер облаков в зените интересовали его куда больше, поскольку эти знаки сулили скорый перелом погоды. Волк привык к безопасности города, впрочем, стихия не пугала его и на воле, но тем не менее его настроение изменилось. Даже людям знакома атавистическая тревога, то беспокойство, которое овладевает всеми перед грозой и бурей. Чувства Волка обострились. Тишина ве-

чера могла обмануть человека, но он читал не только видимые знаки и был уверен, что погода изменится сразу после захода солнца.

Он прибавил шагу. Ветра еще не было, но ток запахов усилился. Деревья, травы, цветы пахли иначе, чем час назад. Даже сталь, титан, пластик, спектролит — все те бесчисленные материалы, которые выдумал человек, вели себя иначе.

Все изменения запахов были знакомы Волку, и его сознание не участвовало в их анализе. Внезапное отклонение заставило его затормозить бег.

Пахнуло чем-то непривычным. Запах был чрезвычайно слаб, но ничего похожего Волк не встречал. Совершенно непонятный запах, который не имел отношения ни к городу, ни к природе.

Волк повел носом и, не колеблясь, двинулся к скамейке, где сидел мужчина лет сорока с лицом смуглым и твердым как камень. Человек, не мигая, смотрел на расстилающийся город, будто готовясь взять его в свои руки.

— Что уставился, приятель? — внимание человека переключилось столь внезапно, что Волк слегка опешил. — Выгляжу чужаком, да? Верно. Отвык я от этого, — рука обвела горизонт. — Красиво. А ты как считаешь?

— Красиво, — Волк согласился не только из вежливости. Люди считали город прекрасным, и он был того же мнения, хотя его понимание красоты не совпадало с человеческим, ибо он не отделял ее от целесообразности, здесь транслятор очеловечивал речь Волка и по существу. Сель отлично разбиралась в этих оттенках, но мужчина воспринял все буквально. Внешне он остался неподвижным, но Волк по незаметным для человеческого глаза сокращениям мышц подметил жест удивления, который, впрочем, был тотчас оборван.

— Ладно, все это лирика, — сказал человек. — У тебя есть ко мне какое-то дело. Говори.

Теперь удивлен был Волк: незнакомец проявил редкую в общении с животными проницательность.

Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа.

— У вас спрятано непонятное.

— Что, что?

Волк улыбнулся бы, если бы мог. Подсознание человека опередило работу ума. Пока ум терялся в догадках о смысле вопроса, пальцы дрогнули настолько красноречиво, что Волк без труда воссоздал все движение целиком.

— Оно лежит в нагрудном кармане.

— Это? Ты это имеешь в виду?

Человек выхватил прозрачную трубочку, доверху заполненную мелким песком.

— Да.

— Ну и хватка! Может быть, ты даже знаешь, что это такое?

— Да и нет. Песок, но непонятный.

— Верно, где же тебе знать... Этот песок оттуда, — человек ткнул пальцем в небо. — Из космоса, с Сириуса, вот откуда. Дошло? Сатана, мы эту планету называли Сатаной, такая она мрачная и холодная. Но радужный песок... Бриллианты по сравнению с ним просто шлак. Верно? Гляди, какие переливы...

Космонавт откупорил притертую пробку и высыпал немного на ладонь. Мерцание песка, казалось, заворозило его. Волк чуть не фыркнул — настолько усилился запах. Кроме запаха, по его мнению, в песке не было ничего особенного, ибо волки не различают цвета. Обыкновенные, матовые, слабо переливающиеся песчинки, только и всего. Со слов людей он знал о существовании какого-то особенного и прекрасного мира красок, но

чувств его это никак не задевало. Люди не разбирались в запахах, для него не существовало цвета, он привык к тому, что здесь нет и не может быть взаимопонимания.

Наконец человек оторвался от созерцания и, будто вспомнив что-то, недоуменно пожал плечами.

— Как это ты сумел учуять из-под притертой пробки, однако...

Быстрым движением он ссыпал песок обратно, задумчиво повертел пробирку, спрятал. Его широкая рука легла на голову Волка.

— Да, приятель, ты не прост. Но мне пора. Скажу тебе по секрету: как ни прекрасен сатанинский песок, а земной лучше, потому что он земной. Есть еще вопросы? Тогда прощай

Человек встал, тряхнул головой, словно отгоняя какую-то мысль, потом быстро зашагал по тропинке.

Волк не двинулся с места. Запах не исчез с уходом космонавта, очевидно, какая-то песчинка упала на землю. Волк даже мог сказать, где она, хотя и не видел ее. Он лег, положив морду на лапы.

В его голове ворочались смутные мысли. Транслятор был, конечно, величайшим достижением, но он невольно обманывал людей, заставляя их думать (неспециалистов, разумеется), что коль скоро волк изъясняется по-человечьи, то и мыслит он примерно так же, но только хуже. Все было, однако, гораздо сложнее. Волку не были свойственны формализованные логические построения. Отчасти их заменяли сцепления образов, чей ход был непостижим для человека. Тем не менее Волк имел собственное представление даже о космосе, ибо люди много говорили о нем, а он жадно впитывал все их суждения. Образ космоса, сложившийся в его сознании, был весьма далек от реального, и все же он не был абсурден. И сейчас Волк мысленно обращался к нему. Никогда еще

ни один запах не казался ему столь странным. Верней, не совсем так. Станным его делало объяснение человека. Человек дал источнику запаха точное название, смысл которого Волку был ясен, — песок. Но запах, который источала песчинка, противоречил определению. Будь на месте Волка человек и обладай он нюхом волка, такой человек легко примирил бы противоречие, связав свойства конкретного со свойством такой абстракции, как «иная планета». Но подобное примирение — действительное или мнимое — было для Волка недостижимым, и он не мог избавиться от недоумения.

Он даже засопел, забыв, что транслятор немедленно переведет звуки в возглас «Ну и ну!».

Слова отрезвили его и напомнили, что пора двигаться. Все же он еще поводил носом вокруг источника проклятого запаха. Если бы его спросили, что его так волнует, он вряд ли смог бы объяснить. Любопытство и любознательность свойственны животным не меньше, чем человеку. Загадочное привлекает, потому что непонятно его значение, неясно, что оно сулит — хорошее или дурное. А знать это необходимо всякому живому существу. Здесь инстинкт преодолевает страх, внушаемый неизвестным. Любопытство Волка также было окрашено беспокойством. Всегда лучше предположить, что загадочное — враг. Впрочем, у Волка это ощущение умерялось давней привычкой к безопасности: с тех пор как человек стал другом, волкам практически уже ничего не грозило ни в лесу, ни в городе.

Внезапный порыв ветра закружил пыль. Крохотный смерч пронесся перед носом Волка и умчал источник запаха.

Волк мигом, как это умеют делать только животные, отключился от прежних размышлений. Раз загадка исчезла, то и думать о ней нечего. Это не было забыв-



чивостью. Волк никогда ничего не забывал: просто бесполезное не стоило внимания. А что может быть бесполезней унесенной ветром песчинки?!

Но школа мышления, которую он прошел у человека, наложила на него неизгладимый отпечаток. Волк знал, что он еще вернется к прерванным раздумьям.

А сейчас надо было отыскать Сель. Он побежал, держа направление к востоку от Космической башни. Инстинкт вел его словно по пеленгу. Разыгрывающийся ветер ерошил шерсть. Всюду зажглись огни; вдоль стен заскользили стереодинамические картины; вспыхнули цветочные фонтаны; здания сверкали, как драгоценности; город мягко сиял, лучился, улыбаясь сомкнувшейся темноте. Здесь, в его сердце, даже ворчание непогоды казалось исполненным благодушия. Где-то тут недавно проходила Сель, и надо было лишь отыскать нечувствительный, может быть, для ищейки, но не для друга, след.

Получасовые розыски наконец привели его к искомым дверям.

Волк и Сель расставались часто, потому что Волк не мог долго жить в городе, вне стаи, но от этого их дружба не слабела. Сель была зоопсихологом, но Волк для нее существовал не как объект изучения. Не был он и домашним зверем, вроде собаки, чью привязанность можно завоевать мимолетной лаской. Сель видела в нем личность столь же глубокую, как и она сама, товарища, которого любят, не задаваясь вопросом почему.

Поэтому встреча была, как всегда, бурной и нежной. Как только они поужинали, Сель сказала:

— Поговорим об интересном?

То были их любимые вечерние минуты, когда с делами покончено, в комнате тихо, как на необитаемом острове, и нет чужих глаз, кроме глаз человека и зверя.

Сель забралась с ногами на диван, Волк устроился рядом. Сель смягчила свет лампы. Пальцы девушки тонули в густой шерсти Волка. Ни один звук не проникал снаружи.

Спешить было некуда. Обычно в такие минуты Волк рассказывал о том, что привлекло его внимание, удивило или озадачило, потом Сель говорила о своих делах, потом они просто болтали, и мало что так привлекало Сель, как вот такое неторопливое погружение в мир чужого сознания.

Так же было и на этот раз. Волк, который не страдал последовательностью, говорил отрывисто, перебрасываясь с воспоминания на воспоминание. Сель, наматывая на палец прядь волос, больше молчала. В черных продолговатых зрачках зверя трепетал отблеск лампы; на мгновение приоткрывался влажно мерцающий ряд клыков, и дыхание Волка касалось лица Сель. Порой ее охватывало чувство нереальности, особенно когда в зрачках туманно отражалась она сама. Казалось, что можно наклониться и заглянуть в зрачок, как в колодец, чтобы увидеть на дне самое себя такой, какой ее видит Волк.

— Может стать живым мертвое?

— Что, что? — очнулась Сель.

— Сегодня в городе учуял незнакомое. Мертвое. Оно лежало в кармане человека. Я спросил. Человек показал песок, сказал: песок. Ушел. Песчинка упала. Стала живой.

— Песок всегда мертвый...

— Знаю. Поэтому странно.

— Ничего не понимаю! Откуда ты взял, что песчинка ожила? Она что — стала двигаться?

— Нет. Она быстро пахла.

— Ну и что?

— Мертвое медленно меняет запах. Растение быстрее. Животное совсем быстро, когда взволновано.

— В самом деле?

— Да

— И по скорости изменения запаха можно отличить камень от дерева, сталь от бабочки?!

— Да

— Волк, ты никогда мне об этом не говорил!

— Ты не спрашивала.

— Это очень-очень интересно! Дальше, Волчишка, дальше!

— Почему песчинка стала живой?

— Да не могла она стать живой!

— Она стала.

Сель приподнялась. Ей показалось, что в глазах Волка мелькнула укоризна: почему она так медленно соображает?

— Давай, Волчишка, по порядку, — твердо сказала Сель. — Итак, ты бежал по городу...

— Да.

— И учуял песок, который лежал в кармане человека. С каких пор ты стал обращать внимание на обыкновенный песок?

— Незнакомый запах. Человек объяснил, что песок из космоса.

— Из космоса?! Тогда ясно. Нет, нет, о чем это я? Решительно ничего не понимаю... Как он выглядел?

— Человек?

— Песок!

— Как песок.

— И он был мертвый?

— Да.

— А когда песчинка упала...

— Она запахла, как живая.

- Ты об этом сказал человеку?
  - Он ушел.
  - Песчинка шевелилась?
  - Нет.
  - И все-таки стала живой?
  - Да.
  - Кто был этот человек?
  - Он из космоса. С Сириуса.
  - Это он тебе сказал?
  - Да.
  - Человек знает, что его песок из мертвого может делаться живым?
  - Он сказал: это песок. Очень красивый. Он не сказал: это живое. Ты почему волнуешься?
  - Потому что... Волк, ты не ошибся?
  - Я не мог ошибиться.
  - Да, да, знаю... И все-таки невероятно... Давай минутку помолчим
- Сель задумалась. Ее темные глаза стали еще темнее. Она оставалась неподвижной, но Волк видел ее бегущей. Это его беспокоило, потому что он не мог взять в толк причину, однако он понимал, что сейчас ему лучше ни о чем не спрашивать. Сель порывисто вскочила. Как была, босиком подбежала к информу.
- Снимки участников сириусской экспедиции, — сказала она в микрофон.
- Спустя несколько секунд на экране информа возникло чье-то лицо.
- Он? — Сель обернулась к Волку.
  - Нет.
  - Этот, этот?
- По экрану заскользили лица.
- Да, — наконец сказал Волк.
  - Все сходится...

— Ты мне не объяснила, — решился напомнить Волк.

— Подожди, Волчишка...

Палец дважды замер над кнопкой, прежде чем ее нажать.

— Вызываю Борка, геолога сириусской экспедиции. Скорей всего он здесь, в городе. Передайте ему... — Сель запнулась. — Вызов экстренный.

Волка не удивило ни то, что Сель разговаривает с неодушевленным предметом, ни то, что этот предмет отыскивает человека, который находится неизвестно где. Он этого не понимал, но он к этому привык и относился к предметам типа информат так же, как к дождю и снегу: раз они существуют, надо к ним приравниваться. Но в поведении Сель, в словах и движениях он улавливал растущую тревогу и на всякий случай подбирал, чтобы быть наготове.

Минуты три прошло в молчании. Наконец стена, противоположная той, возле которой лежал Волк, исчезла, и комната как бы соединилась с другой, более просторной и ярко освещенной. Сидевший за столом человек поднял голову. Увидев девушку, он встал, и они оказались друг против друга — сдержанный порыв волнения и твердая осанка незыблемой уверенности.

— Извините, если окажется, что я зря побеспокоила вас, — быстро проговорила Сель. — Перейду к делу. Тот песок, который вы сегодня показывали Волку, еще у вас?

— Какому волку? — космонавт, не отрываясь, смотрел на Сель.

— Вот он.

— А, мой серый приятель! Теперь припоминаю. А в чем, собственно, дело?

— Это действительно песок?

— И даже очень красивый. — Борк медленно улыбнулся. — Показать?

Он вынул из стола знакомую Волку трубочку.

— Прелестен, правда?

— Это точно песок? Не колония живых организмов?

— Нет, конечно! Откуда такая мысль?

— Он прошел карантин?

— Разумеется! Простите, я все еще не понимаю...

— Возможно, это не совсем песок.

Улыбка Борка погасла. Он ждал.

Сель коротко пересказала все, что знала.

— Не хочу обидеть нашего серого друга, — в голосе Борка прозвучала ирония. — Согласитесь, однако, что...

— Волк никогда не ошибается в фактах, — резко сказала Сель. Брови Борка поднялись. — Он может ошибаться в выводах. Но если он говорит, что песчинка повела себя подобно живому организму, то так оно и есть.

— Трудно спорить с убежденностью. Допустим, мой диагноз неверен. Но неужели вы думаете, что сотрудники карантина не отличат минерал от живого организма?

— Плесень... — тихо сказала Сель.

— Да, плесень, — уверенность на мгновение покинула Борка. — Нет, не тот случай, — его голос снова был тверд. — Тогда просто не заметили спор.

— Вы не хотите верить?

— Я не могу верить. Этот песок живой?! — Борк потряс пробирку. — Простите меня, но фантазии животных...

— Фантазия у них, к сожалению, развита слабо, — голос Сель прозвучал сухо. — Волк, это песок или нет?

— Не чую его.

— Ах да! Борк, это будет большим нахальством с моей стороны, если я все-таки попрошу вас приехать?

— Чтобы ваш зверь вынес свой приговор?

— Дело же не в этом!

— Вы правы, — Борк сделал шаг, и выражение его лица изменилось. — Извините, я забыл, что выстрелить может и сухая палка. Где вы находитесь? Буду через семь минут.

Комната Борка исчезла.

Сель вздохнула. Ее рука опустилась на голову Волка.

— Нам не верят, Волчишка... Да я и сама не верю.

— Объясни!

— Ты вряд ли поймешь. Я и сама не очень-то понимаю. В космосе, видишь ли, встречаются очень необычные формы жизни. Причудливые, странные... Поэтому все, что попадает оттуда на Землю, подвергается строжайшей проверке. Особенно живое. Не всегда живое опасно, чаще оно безвредно. Но однажды сквозь контроль проскочила плесень. Давно, тогда тебя не было. Началось страшное, мы с трудом справились. Надеюсь, что на этот раз...

— Я не хотел пугать.

— Знаю, знаю. Все объяснится скорей всего очень просто, и я, верно, ошибаюсь. А вот и Борк... Входите!

Борк энергично пожал протянутую ему руку, кивнул Волку и без лишних слов откупорил пробирку. У него был вид человека, который твердо решил ничему не удивляться.

— Что скажешь, Волк? — голос Сель дрогнул.

— Оно пахнет живым.

— Как! Ты же говорил...

— Тогда был песок. Сейчас нет.

Борк нахмурился. Он долго испытующе смотрел на

Волка, словно надеясь уличить его в обмане. Потом, ни слова не говоря, взял чистый лист бумаги, отсыпал на него немного песка, достал микроанализатор. Вспыхнуло едва видимое облачко. Взглянув на шкалу прибора, Борк повернул ее к Сель.

— Видите?

— Эти цифры мне ничего не говорят.

— Они говорят о химическом составе. Они говорят о строении объекта. И то и другое свидетельствует, что это минерал.

— Но Волк...

— Послушайте. Вы зоопсихолог. Вы прекрасно знаете, что одиночных видов живых организмов не существует и существовать не может. А планета, откуда доставлен песок, мертва, как льдышка.

— Но в льдышке, случается, спят даже высокоорганизованные существа.

— Верно. Но если бы вы видели эту планету... Насколько я понял, для Волка живое от неживого отличается, так сказать, частотой запахоизлучения. Так?

— Да.

— По дороге я все обдумал. Отличие этого минерала от земных, помимо состава и структуры, в том, что ему присуща быстрая смена запахочастот. Вот и все. Вы разочарованы?

Сель покраснела.

— Наоборот, вы должны гордиться, — сказал Борк, словно оправдываясь. — Минерал я вез к Орцеву в университет. Но даже Орцев не скоро бы обратил внимание на это его свойство. Вас беспокоит еще что-то?

— Пустяки, — Сель нехотя улыбнулась. — Сначала для Волка мертвым был весь песок...

— Ясно, ясно. На запах, по словам нашего серого



аналитика, влияет смена погоды. Так? Сейчас надвигается гроза.

— Вы всегда так логичны?

— К сожалению. Боюсь, что это неизлечимо.

— Почему «к сожалению»? Волк, давай попросим прощения...

— И забудем этот глупый эпизод. А если я рад, что таким образом познакомился с вами?

— А песок и в самом деле красив, — Сель нагнулась к столу, как бы не слыша слов Борка. — Какие отсветы... Они играют, дышат в каждой песчинке. Знаете, чем камень жив? Светом.

— Точно! В темноте камень мертв. Дерево — нет, животное — тем более, а камень да. В этом смысле наши представления, пожалуй, схожи с представлениями четырехлапых умниц. Интересно, что он сейчас обо мне думает?

— Спрашивать его об этом небезопасно.

— Почему?

— Большинство людей до сих пор уверено, что животные смотрят на них как на божество. Уверяю вас, ни одно животное на нас так не смотрит.

— Я не принадлежу к числу таких людей.

— А ваше самолюбие не пострадает, если Волк даст вам не слишком лестную характеристику? — спросила она, не отводя взгляда от мерцающих песчинок.

— Я ее заслужил?

— Надеюсь, что нет. Впрочем, спросите у Волка.

Борк смущенно пригладил волосы.

— И спрошу — сказал он решительно. — Послушайте, Волк...

Возглас Сель оборвал фразу.

— Смотрите, Борк!

Слова прозвенели, как осколки разбитого фарфора.

Обернувшись, Борк мигом схватил то, что видела Сель, то, на что указывал ее дрожащий палец.

— Вам показалось...

— Они шевелятся, — вдруг подтвердил Волк, и люди, отпрянув от стола, уставились на него. — Песчинки давно шевелятся.

Секунду все были неподвижны, затем повелительный жест Борка остановил рванувшуюся Сель. Шевеление некоторых откатившихся от общей массы песчинок было теперь так же ясно для человеческого глаза, как и для взгляда Волка.

— Они делятся, — голос Сель дрогнул. — Вот! И вот...

— Спокойно.

Точным и быстрым движением Борк ссыпал песок в пробирку. Источник зловещего мерцания исчез в кармане, и Сель стало легче, словно со стола убрали гадюку.

— Все, — слегка задыхаясь, сказал Борк. — Все, — повторил он, как бы убеждая себя и других. — Возможно, нет ничего опасного. Допустимы любые другие объяснения. Ничего не случилось — они заперты.

— Не все! — воскликнула Сель.

— А-а!

— Та единственная песчинка...

— Пустое. Найдём.

— Ее сдул ветер, — сказал Волк.

— Так, так... — рука Борка медленно потянулась к информу.

— Это бесполезно! — остановила его Сель. — Легче найти... не знаю что.

— Знаю, но другого выхода нет,

— Есть. Волк!

— Здесь!

— Да, да, ты здесь... Волчишка, милый, ты можешь учуять ту песчинку? Можешь, можешь?

— Послушайте, Сель!

— Борк, если кто сможет отыскать, так это Волк.

— Да, — сказал Волк. — Найду, если она здесь.

— И все-таки... — Борк колебался.

— Спешите в лабораторию.

— Вы действительно уверены...

— Я знаю Волка.

— Тогда с ним пойду я! У меня ноги крепче.

— Но вы не понимаете Волка так, как я. Идите!

— Ладно, одно не мешает другому. В конце концов город можно закрыть на карантин. Не теряйте связи!

...На верхней площадке здания хозяйничал ветер. Его тугая масса налетала холодными гулками порывами. В просветах туч нервно мигали звезды. Горизонт рассекали бледные, пока еще беззвучные молнии.

Ноздри Волка жадно втягивали ветер. Запахи мелькали подобно строчкам быстро листаемой книги. Фоном был далекий аромат лугов и перелесков. Среди городских запахов ярче всех выделялись тягучие испарения смазок, кисловатые запахи металла, царапающие, с сухим привкусом стекла ароматы полимеров. Ветер нес тысячи оттенков, и нос Волка ловил их, точно локатор. Ветер и помогал и мешал. Помогал, потому что раздувал пламя запахов и нес их за километры; мешал, потому что создавал путаницу, рвал слабые токи. К счастью, он менял направление и порой замирал, так что Волк мог обнюхивать город, как бы паря над ним. Сель стояла рядом, бледная от волнения.

Конечно, она понимала, что Борк предпримет все возможное. Будут доставлены и пущены по следу овчарки. Немедленно будут откалиброваны на новый запах и использованы все лабораторные анализаторы. Но она так-

же знала, что ни один аппарат не сравняется в чуткости с Волком и ни одна овчарка не возьмет след так, как это сделает Волк, который понимает, хотя, может быть, иначе, чем люди, цель поисков. Кроме того, сейчас все решали часы и даже минуты.

Ловя подозрительные струи, Волк то и дело срывался с места. Казалось, он играет с невидимыми в темноте бабочками. Но иногда он надолго замирал.

Город внизу сверкал ярче, чем когда-либо. Огни сильно и беспокойно мерцали в предгрозовом воздухе.

Волк ничего не видел и не слышал. От ветра шерсть его вставала дыбом и ходила волнами; порой он казался Сель незнакомым, страшноватым зверем.

Внезапно его нос припал к настилу. Затем Волк подпрыгнул. По бетону скрежетнули когти.

— Есть! Туда, там...

Вывести из ангара реалет было делом минуты. Машина взмыла над городом, и отблеск огней лег на ее широкие плоскости.

Но в воздухе нить запаха оборвалась. Напрасно Сель бросала реалет из стороны в сторону, то падая вниз, то взмывая высоко над крышами.

Сель ничего не говорила Волку, она и так знала, что тот делает невозможное.

Наконец, когда они попали в бившую снизу струю воздуха, Волк оживился.

— Ниже, ниже...

— Ниже?

— Да, да!

Сель заколебалась. Ниже был вентиляционный колодец. Окаймленное огнями устье сверкало, точно ожерелье. Лететь туда? Правила запрещали это. Спускаться на лифте, идти? А если снова потребуется реалет? Время, время!

Сель набрала индекс Борка.

Возникшее на экране лицо космонавта выражало досаду и спешку. При виде Сель оно смягчилось.

— Нашли?

Сель объяснила.

— Ни о чем не заботьтесь, — быстро проговорил Борк. — К черту правила, я договорюсь с патрульной службой. Но быстрее, как можно быстрее!

— Они живые?

— Да. Но может быть, это квазиз жизнь... Не спрашивайте. На свободе могут быть два, даже три семени.

— И они?..

— Ждем окончательных результатов. Сразу же сообщу. Отключаюсь.

Экран потух.

Реалет неподвижно висел над устьем. Ветер слегка раскачивал машину, точно лодку на якоре. Закусив губу, Сель неподвижно смотрела вниз. Отверстие было чуть шире диаметра реалета.

— Держись, Волк...

Реалет камнем полетел вниз. Только на скорости и только так можно было совершить маневр при боковом ветре. Замелькали лампы, перекрытия, пролеты, чьи-то испуганные лица на галереях.

— Еще ниже?

— Да.

Ниже колодец был перекрыт фильтрующей решеткой. Включив сирену, Сель ввела реалет в пространство наземного яруса. В полукилометре отсюда — она это знала — находился транспортный шлюз.

Сбавив ход до минимума, Сель вела реалет прямо над движущейся дорогой, прямо над головами людей. Внизу раздавались крики.

«Что они обо мне думают?» — пронеслась мысль.

В глазах рябило от света и бликов  
В стенах грохотало эхо.  
Выемка шлюза, наконец-то!

— Чуешь?

— Да, да!

Волк дышал как от быстрого бега. Охота его радовала, безумная охота, преследование врага, который чем-то угрожает Сель.

В подземном ярусе располагались не только транспортные артерии, склады и коммунальные службы. Но сейчас поле зрения было ограничено стенами тоннеля. Полет здесь был чистым сумасшествием, но Сель действовала не по наитию. Реалет она вела по той стороне, где не могло быть встречного экспресса. Встречный должен был пройти рядом, всего в двух метрах от левого крыла реалета. Это было более чем рискованно, но Сель решила, что посадит машину, если встреча произойдет. Авось задний экспресс успеет затормозить, авось она успеет проскочить до его появления.

Рокочущий гул впереди настиг ее в то самое мгновение, когда показался перрон. Она все же успела увернуться и взмыть над платформой. Ожидавшие экспресс люди кинулись врассыпную.

Лететь далее не имело смысла. Сель и Волк выпрыгнули из реалета. Ей кричали, но она не слышала криков. Да, такого переполоха еще никто не устраивал...

Волк бежал зигзагами, Сель едва поспевала за ним. Лестница, переход, снова лестница... Сель начала задыхаться. Волк замедлил бег. Люди, мимо которых они проскакивали, замирали, как изваяния. Уж очень это была контрастная картина: рослый, могучий волк и спешащая за ним тоненькая в белом девушка с волосами, как черное пламя.

Квадратная площадка. Дверцы одного из лифтов раздвигались. Двумя великолепными прыжками Волк опередил Сель. Какая-то старуха уже заносила ногу, когда Волк вскочил в кабину и мягким толчком заставил ее отшатнуться.

Женщина вскрикнула, и в этом крике Волк уловил нотки того же самого древнего атавистического страха, который пробуждался порой и в нем как родовое воспоминание о тех далеких днях, когда волки боялись людей, а люди боялись волков.

— Ты... что... Волк...

Резкая боль в груди мешала Сель говорить. Вместо ответа Волк положил лапу на башмак женщины.

— Вы... вы... — женщина задыхалась от негодования и страха.

— Извините...

Сель было все равно, что о ней подумают.

— Приподнимите, пожалуйста, ногу...

Так как женщина совершенно потеряла и дар движения, и дар речи, Сель сама приподняла ее ногу. В одном из рубцов подошвы она увидела две знакомые ей песчинки.

Вот и все. Вокруг уже толпились возмущенные люди. Волк на всякий случай выдвинулся вперед и небрежно зевнул, показывая великолепный набор клыков.

— Волк, смирно! Извините, — бросила Сель женщине, равно как и всем другим. Она выхватила карманный видеофон и тотчас забыла об окружающих.

— Борк, мы нашли, нашли! — закричала она, едва засветился экран.

— Сколько? — последовал торопливый вопрос.

— Обе!

— Сель, их может быть три.

— Да тише же! — Женщина кричала, мешая слушать. — Это я не тебе... Все настолько серьезно?

— Серьезней некуда. Размножаясь, они поглощают тепло. Да как! Они могут заморозить планету. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Но факты... Мы — шляпы, глупые, самонадеянные шляпы, обо всем беремся судить, даже не подозревая, сколько вокруг неизвестного. Ищите, Сель, ищите! Мы сейчас объявим всем, мы... Зовут, простите.

Сель не заметила, как воцарилось молчание. Люди слышали разговор и поспешно расступились перед девушкой. Только женщина бормотала что-то.

— Вот так, Волчишка, — тихо сказала Сель. — Начнем все сначала.

Когда они выбрались наверх, гроза уже началась. Мигание молний преломлялось в прозрачных плоскостях стен, трепещущий отблеск скользил по куполам и аркам, дробясь, рокотал гром. Потоки воды то вспыхивали серебром, то исчезали в темноте. Огненная струя Космической башни казалась ревущей.

Одежда Сель промокла, едва они вышли на открытую площадку. Волк долго кружил по ней, но ничего не почувствовал. Они сели в реалет. Шло время, руки Сель окаменели за рулем. Сель то и дело связывалась с Борком. Ответы были неутешительными. Нигде ничего.

— Может быть, их все-таки было две?

Сель бодрилась, но голос выдал усталость. Губы Борка дрогнули.

— Нет, — сказал он решительно. — Все песчинки стали тройными.

— И по-прежнему делятся?

— Перестали. Надолго ли? Пока ни одного случая четвертой генерации. Ищите третью, пока они затихли.

— Мы ищем.



Волк не находил себе места в кабине. Согласно распоряжению город всасывал воздух только через внешние наземные шлюзы и гнал его к центру, чтобы выбросить вертикально вверх. Это нарушало циркуляцию, внутри города сновали вихри, зато все запахи стягивались к снующим реалетам. Волк метался от одного опущенного щитка к другому, его ноздри раздувались как мехи, никогда ни до, ни после он так не напрягал свои способности. То и дело ему казалось, что он уловил... Всякий раз надежда гасла, не успев разгореться. Возможно, искомая песчинка была унесена в глубины коллектора, возможно, ветер еще до дождя умчал ее далеко от города, все могло быть.

«Налево, вверх, вниз, направо», — Сель исполняла, как автомат. Может быть, впервые за всю историю человек безоговорочно повиновался волку.

Уже дважды ему в ноздри вторгался какой-то смущающий его запах. Он проверил его — нет, не сходится. И все-таки это был необычный запах. Не пластик, не сталь, не дерево... Но и не песчинка.

Волк ничего не сказал. В кабине свистел ветер. Мозг Волка работал медленно. Ему казалось, будто он что-то забыл и старается припомнить.

Они еще с полчаса кружили над городом. Потом запах повторился.

— Налево.

Сель послушно повернула.

— Ближе. Вверх! Опуст. Ближе.

— Ближе нельзя, мы врежемся в здание.

— Надо.

— Ты учуял?!

— Странный запах. Если она не с Земли, то она может быть странной дважды.

— Ясней, Волк, ясней!

— Песчинка может быть странной всегда?

— Да, да! — Оба кричали, чтобы осилить свист ветра. — Я поняла! Если она намокла, то ее запах мог измениться неузнаваемо, не так, как у земных материалов! Это?

— Может быть.

— Где же?

— Там!

Здание опоясывал узкий карниз. «Это» находилось где-то посредине. Сель лихорадочно соображала. Если бы окна были старинными! Но сквозь стеклянную стену на карниз не вылезешь. Оставалось посадить реалет на висячий балкон и оттуда...

Балкон был чуть шире реалета. Ожидая толчка, Сель даже зажмурилась. Волк выпрыгнул, едва она распахнула дверь. Ветер яростно прижал ее к сиденью. Сельглянула вниз, и ей стало не по себе. Но Волк уже шел по карнизу так, словно это была положенная на землю доска. Сель перевела дыхание.

Метр, еще один, еще и еще... Волк замер. Дважды молния освещала его широкую мокрую спину.

«Чего он медлит? Чего?» — недоуменно спрашивала себя Сель. Кричать она не решалась, боясь напугать.

Припав мордой к карнизу, Волк что-то пытался сделать.

Сель подалась вперед, обхватив холодные перила.

Волк поднял голову. Сель не видела, но чувствовала его взгляд. И вдруг поняла: Волк нашел то, что они искали. Нашел и не может взять, потому что у него нет послушных и гибких человеческих пальцев.

Сель похолодела. Волк медленно пятился по карнизу. Можно было, конечно, вызвать людей с двигателями для птичьего полета, но кто поручится, что струи воды не смоят песчинку до их прихода? Прямо у подножья зда-

ния зияла воронка дождевого коллектора. Там был конец всему.

Нос Волка ткнулся в колено Сель. Слов не требовалось, сейчас слова были лишними. Волк требовал действия.

Рывком Сель перебросила ногу через перила. Она действовала как в лихорадке и в то же время со странным, удивившим ее спокойствием.

Спиной она прижалась к зданию. Ступни ног умещались на карнизе. Она знала, что нельзя смотреть вниз. Она смотрела прямо перед собой и видела только огненную иглу Космической башни. Рвущийся в небо столб пламени давал мысленную опору. Сель сделала шаг. Спиной она чувствовала малейшие шероховатости стены. Ноги были словно не ее. В бок голкал ветер.

Еще шаг. Чем крепче она прижималась к зданию, тем ощутимей было его колыхание. Здание плавно раскачивалось. Амплитуда качаний была ничтожной, но она нарушала то равновесие, в котором застыла Сель. Стена здания, точно упершаяся в спину ладонь, мягко, но непреклонно подталкивала тело.

Сель замерла, раскинув руки. Теперь качалась уже и Космическая башня. Да, она раскачивалась, и вместе с ней раскачивалась Сель. Темнота внизу притягивала взгляд, как магнит.

Сель закрыла глаза. Исчезло все, осталось лишь мерное колебание стены. И боковые толчки ветра. И холод облепившей тело одежды.

Тело медленно входило в ритм толчков и колебаний, произвольно для сознания отыскивало ту равнодействующую, которая давала устойчивость.

С закрытыми глазами Сель сделала несколько шагов. Все было бы очень просто, если бы не воображение. Не к чему было закрывать веки, коль скоро воображение

рисовало не только пропасть внизу, не только узость опоры, но и падение в бездну, то, как оно начинается — со слабости колен, пустоты во всем теле, судорожных усилий, отчаяния последнего мига, последнего взмаха...

Воображение вело за собой послушное тело, навязывая ему свой судорожный ритм. Дрожь охватила Сель. Она раскачивалась, теряя равновесие, задыхаясь от ужаса.

Чьи-то крепкие зубы сжали ее лодыжку. Сель облегченно вздохнула. Призраки отлетели. Нога в пасти Волка была как в мертвом зажиме. Это было подобие опоры, но и его было достаточно.

Прошло несколько секунд. Сель не решалась открыть глаза. Она отдыхала от игры воображения, от страха, от дрожи в ногах. Хватка Волка надежно держала ее над пропастью. Только сейчас Сель поняла всю меру безумия и самонадеянности, толкнувшей ее на карниз. Здесь было мало решимости и мужества, нужен был опыт. Она бы уже лежала внизу, если бы не опора, которую ей дал Волк. Если бы не чувство реальности, которое он ей вернул.

Твердый нажим зубов передался ей как команда. Она переставила одну ногу, подтянула другую. Не надо было ни о чем думать, не надо было ничего чувствовать, надо было слепо двигаться, повинаясь направляющей хватке Волка. Чисто механические действия, страхуемые охватившими лодыжку тисками. Все оказалось очень просто, когда исчез страх и погасло воображение. Глаз Сель не открывала, чтобы не спугнуть блаженное спокойствие. Тело само находило равновесие, как только ему перестал мешать разум.

Наконец Волк слегка сжал клыки: «Стоп!» Начиналось самое трудное. Надо было открыть глаза, взглянуть вниз...

Молнии били непрерывно. Сель видела только то, что было в центре ее внимания, — бугристую, омываемую ливнем плоскость карниза. За ее краем притаилась тьма провала.

Сель показалось, что она видит песчинку, но, возможно, это была игра отблесков. Надо было наклониться. Ветер переменялся и дул в грудь. Появилась еще одна неверная опора.

Сель согнула колено, перенесла на него тяжесть. Каменная плоскость укрупнилась, приблизилась. Но пока Сель нагибалась, в поле зрения ворвался сверкающий огнями провал.

Это не произвело того впечатления, которого она боялась. Сознание, сосредоточенное на одной-единственной задаче, устояло. Лишь где-то в глубине шевельнулся прежний страх.

Теперь Сель отчетливо видела песчинку. Она лежала возле самого края. Возможно, она могла так пролежать еще долго, но столь же вероятным могло быть и другое.

Некоторое время не было молний. Потом вспыхнуло сразу несколько. Песчинка заблестела, как алмаз. Сель быстро протянула руку.

Когда они выбрались на площадку, Сель привалилась к стене. Пол слабо кружился. Ее рука лежала на спине Волка, и Сель чувствовала, как постепенно успокаивается порывистое дыхание зверя, воображению которого было доступно многое из того, что доступно человеку. У обоих одинаково колотилось сердце. Внизу лежал омываемый дождями город — их город. Успокоительно стучала капель. Пол кружился все слабей и слабей, потом замер.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

**Чара**  
**4**

**Во всех вселенных**  
**12**

**Ночь контрабандой**  
**20**

**Запрет**  
**37**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Случай на Оме                  | 48  |
| То, чего не было               | 55  |
| Адский модерн                  | 66  |
| Голос в Храме                  | 72  |
| Человек, который присутствовал | 84  |
| Давление жизни                 | 102 |
| Последний экзамен              | 115 |
| Дорога без возврата            | 124 |
| Смешанка                       | 143 |
| Как на пожаре                  | 150 |
| Сломался эскудер               | 154 |
| Его Марс                       | 159 |
| Город и Волк                   | 174 |

**Биленкин Дмитрий Александрович**

**НОЧЬ КОНТРАБАНДОЙ.** Научно-фантастические рассказы. М., «Молодая гвардия», 1971.  
208 с., с илл. («Б-ка советской фантастики».)

**P2**

Редактор Б. К л ю е в а  
Художник Г. П е р к е л ь  
Художественный редактор Б. Ф е д о т о в  
Технический редактор Н. Т у р к и н а  
Корректоры З. Х а р и т о н о в а, А. Д о -  
л и д з е

Сдано в набор 19/X 1970 г. Подписано  
к печати 29/XII 1970 г. A00779. Формат  
70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 3. Печ. л. 6,5  
(усл. 9,1). Уч.-изд. л. 8,3. Тираж  
100 000 экз. Цена 26 коп. Т. П. 1970 г.,  
№ 225. Заказ 2123. Типография издательства  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва,  
А-30, Суцёвская, 21



Сканирование - Беспалов  
DjVu-кодирование - Беспалов



У ✓ 86 29  
26 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

